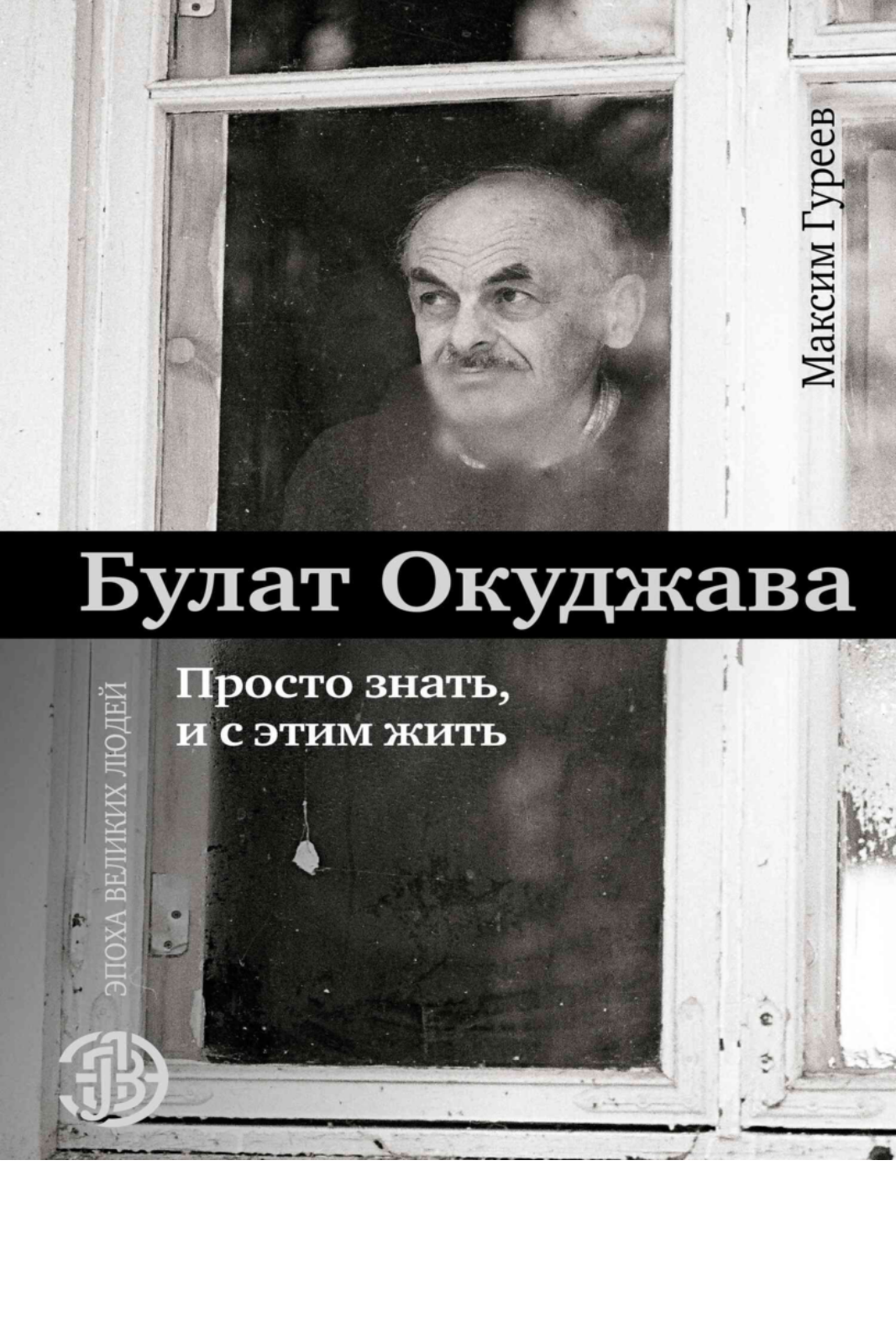


A black and white photograph of a man with a mustache, looking out of a window. The man is positioned in the upper half of the frame, looking slightly to the left. The window frame is visible, and the background outside is dark. The overall tone is somber and reflective.

Максим Гуреев

Булат Окуджава

Просто знать,
и с ЭТИМ жить

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ



SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

Притом что имя этого человека хорошо известно не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами, притом что его песни знают даже те, для кого 91-й год находится на в одном ряду с 1917-м, жизнь Булата Окуджавы, а речь идет именно о нем, под спудом умолчания. Конечно, эпизоды, хронология и общая событийная канва не являются государственной тайной, но миф, созданный самим Булатом Шалвовичем, и по сей день делает жизнь первого барда страны загадочной и малоизученной. В основу данного текста положена фантаσμαгория — безымянная рукопись, найденная на одной из старых писательских дач в Переделкине, якобы принадлежавшая перу Окуджавы. Попытка рассказать о художнике, используя им же изобретенную палитру, видится единственно возможной и наиболее привлекательной для современного читателя.

- **Максим Гуреев**

- Пролог
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Интродукция
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Код
- Глава 7
- Глава 8
- Маэстро (торжественно)
- Глава 9
- Глава 10
- Хронология жизни и творчества

Максим Гуреев

**Булат Окуджава. Просто знать и с
этим жить**

Пролог

Во время ремонта одной из писательских дач в поселке Мичуринец Внуковского поселения на чердаке в куче старых вещей была обнаружена рукопись, завернутая в газету «Правда» от декабря 1983 года. Заглавные страницы рукописи оказались утраченными, и посему имя автора, а также название сочинения остались неизвестными.

Сезонные рабочие Сархат Шарипов и Машхади Латифи, которые и обнаружили рукопись, отнесли ее в Дом творчества писателей, что находился на улице Серафимовича, где оставили ее на вахте.

Спустя несколько дней рукопись оказалась в редакции одного из «толстых» журналов.

Споры о том, кому мог принадлежать этот текст, потом еще довольно долго были главной темой еженедельных заседаний редколлегии, но к общему мнению здесь так и не пришли, сойдясь, впрочем, на том, что рукопись напечатана быть не может.

Ее сдали в архив в той надежде, что со временем тайна авторства безымянного сочинения будет раскрыта.

А начиналось оно так:

«Из дневника артиллерийского офицера десятого корпуса второй прусской дивизии Михаэля Розена: «Вчера, 26 октября 1812 года, мы получили приказ об отступлении. Бумагу из штаба доставил мой старинный приятель, бывший артиллерист, капитан Вильгельм Витке. Он сообщил, что русские перешли в контрнаступление в районе села Терентьево, окружили и разгромили соединение пеших гренадер маршала Даву, к которому была приписана наша батарея. Следовательно, на нас двигалась русская армия под командованием генерала Дохтурова, при том что половина орудий батареи была выведена из строя, а другая половина стояла без боеприпасов. Спешные сборы заняли не более полутора часов, и мы выдвинулись, оставив часть орудийного парка на левом берегу реки Протвы близ погоста со странным названием Кариж. Также Витке предупредил, что окрестные леса изобилуют русскими партизанскими отрядами и казаками атамана Платова, которые по своей дерзости и жестокости не уступают легендарным раубриттерам, что в свое время орудовали на Рейне и в Баварии.

После шести часов пути по единственной проходимой в это время года лесной дороге мы вышли на Боровский тракт, где и заночевали. Ночь, как ни странно, прошла спокойно, однако

расставленные вокруг бивака часовые доложили, что под утро на тракте появились неизвестные всадники числом не более десяти сабель и, видимо, не решившись вступить с нами в бой, ретировались, растворившись в предрассветной дымке.

Сейчас я пишу эти заметки и не знаю, что нас ждет впереди».

То, что передовая группа партизанского отряда Игната Зотова ранним утром 27 октября 1812 года наткнулась на артиллерийский бивак десятого корпуса второй прусской дивизии, точнее, на его остатки, было чистой случайностью.

Зотовцы должны были ехать восточнее, вдоль Протвы, но заблудились в непроглядном густом утреннем тумане поздней осени и выбрались на Боровский тракт, скорее, по наитию, не смогли его отличить от десятков подобных уходящих в никуда и приходящих ниоткуда дорог, просто после многочасового движения по заболоченным низинам почувствовали твердую почву под ногами, и лошади понесли. Слава Богу, что вовремя остановились, потому что противостояние многократно превосходящим прусско-французским силам закончилось бы для Зотовцев трагедией.

Вновь вернулись в чащу, спешились и затаились.

В Калужских лесах Игнат Иннокентьевич Зотов появился вскоре после Московского пожара, где-то в середине сентября, и сразу влился в партизанский отряд Андрона Смагина, который наводил ужас на французов, начиная с отвода войск с Бородинского поля. Однако в одной из стычек под Малоярославцем Смагин погиб от шальной пули, прилетевшей, как говорили бывшие в тот момент рядом с Андроном, со своей стороны.

Общим сходом отряда на место покойника был назначен Игнат Зотов как человек смелый, решительный, а также знающий толк в военном деле.

Во время Малоярославецкого сражения Игнат со своими людьми был придан Касимовскому казачьему полку атамана Платова, а уже после победоносного окончания битвы перед ним была поставлена задача преследовать отступающих французов и сдерживать их движение по границе правого берега реки Протвы.

В отряд Смагина Зотов пришел вместе с сестрой Авдотьей Иннокентьевной, ведь только им вдвоем из семьи и удалось спастись из Московского пожара.

Игнат хорошо запомнил ту сентябрьскую ночь, когда все в доме, располагавшемся в Новинском близ Арбата, проснулись от страшного грохота. Выглянув в окно, он увидел пылающие фуражные барки, которые были пришвартованы в нижнем течении Пресни. Ураганный ветер расшвыривал снопы искр и

обрывки взлетевшего к небу пламени по всей округе. Почти сразу вспыхнули стоявшие у самой воды сараи и сваленные для просушки вверх дном лодки, деревянные заборы и покосные луга, огонь по которым пошел волнами. Все это напоминало бурю на море, когда влекомые ураганом брызги разлетаются в разные стороны как картечь, с треском испарывая изломанную шквалом водную гладь. Трава вспыхивала и гасла, то освещая, то погружая в темноту подступы к монастырскому посаду.

Меж тем у пристани взорвалась еще одна барка. Столп оранжевого огня вылетел в небо пуще прежнего, на какое-то время завис в воздухе, оплавляя завихрения прибрежного песка, и рухнул на жилые дома, что тянулись от реки до Земляного вала.

Все произошло мгновенно — дом вспыхнул, загудел, зашатался. Выбежать из пламени успели только Игнат и Дуня: в чем были, в том и оказались на улице.

И только под утро на пепелище пришел живой дух реки, прелых водорослей, обуглившейся, но живой ракиты, стылых водоворотов, из которых на поверхность время от времени выносило сонных рыб и перловицы, ракушки, сложенные как ладони, плотно прижатые друг к другу, будто внутри, как в пещере, в них хранились Святые Дары или реликвии.

И это уже потом пришло осознание того, что нет ни даров, ни реликвий! Все сгорело! А далекие раскаты французской артиллерии возвестили о том, что отныне Москва теперь уже и не вполне Москва, но город, в который вошла Великая армия, во главе которой был низкорослый, неулыбчивый господин, уголки губ которого ни минуты не были в состоянии покоя, они постоянно змеились, дрожали, но всегда стремились только вниз. На первый взгляд могло показаться, что этот господин всегда на кого-то обижен, ведь есть же такие люди, которые таят негодование и разочарование, обиду и неудовольствие вопреки тому, что никто не дает им повода к хранению этих угрюмых состояний.

Однако если бы с Наполеоном все выглядело именно так, то это было бы слишком просто. Еще в детстве он ощущал в себе постоянное раздражение, но лишь на самого себя, чаяния и надежды сверстников абсолютно не интересовали его, стало быть, обижаться на этих ничтожных, копошащихся людей было ниже его достоинства. Для Наполеона существовал лишь один человек, достойный высоких эмоций и переживаний — это он сам. Когда же ярость, клокотавшая в его груди, становилась совершенно нестерпимой, он начинал кричать — неистово и самозабвенно, потому что был уверен, что всегда прав.

Спустя годы, что и понятно, внутренний и внешний человек

стали единым существом, цельным и свободным от детских предрассудков, а лицо этого человека стало полностью неподвижным. Вот разве что уголки острых, словно вырезанных лезвием бритвы губ, что трепетали при малейшем движении мысли или настроения, оставались единственным знаком того, что Наполеон еще жив.

Так и произошло свидание Москвы с Бонапартом.

Игнат Зотов лежал на горячей от ночного пожара земле и думал, что он умер. Все, что будет потом, будет уже с другим человеком, у которого не было ни детства, ни семьи, ни воспоминаний, потому что все это осталось за ревушей, изрыгающей невыносимый жар стеной огня, которую нельзя было миновать, нельзя было перейти ни в ту, ни в обратную сторону.

Теперь оставалось только тупо, не мигая, едва дыша, смотреть перед собой, предполагая, что все это видишь в первый раз, что никогда ничего подобного не видел.

— А что «это»? Чего никогда раньше не видел? — едва шевеля губами, проговорил Игнат Иннокентьевич и сам ответил себе мысленно:

— Вот этой заросшей редкой кривой голутвой долины, холма, на вершине которого некогда стоял Новинский монастырь, излучины реки и неба, выкрашенного пеплом в цвета тлена, не видел. А еще невыносимо слушать этот однообразный, придавливающий к земле звук, что извлекает из своего берестяного рога низкорослый, широкоплечий, со сросшимися на переносице бровями пастух несуществующего стада. Он трубит в свой рог на одном, бесконечной длины дыхании, он надувает щеки, закрывает глаза, раскачивается в такт одному ему известному ритму, в котором можно услышать гул ветра, шум воды на перекатах и крики птиц.

Зотов повернулся на бок, зажал ладонями уши, и сразу наступила тишина, которая на самом деле тишиной не была, но монотонным гулом, что существовал где-то в глубине самой головы. И теперь, когда внешних звуков не существовало, ведь они были отсечены ладонями, он стал естеством, единственным знаком того, что ты жив, потому что полная тишина наступает после смерти. Он видел свою сестру, которая бежала к нему, размахивала руками, что-то кричала, но вместе ее голоса существовал только этот шум, внутри которого собственный голос казался страшным, низким, чужим, принадлежащим какому-то чужому человеку.

В районе Калужской заставы обоз с беженцами столкнулся со входящим в Москву первым полком пеших гренадер Имперской гвардии под командованием бригадного генерала Клод-Этьен

Мишеля.

Медленно, буквально бок о бок двигаясь встречными курсами, русские и французы смотрели друг на друга в полном молчании.

Все происходило так, словно каждый из них зажал уши ладонями: только взгляды и неразборчивое бормотание на разных языках, шепоты и тяжелое дыхание смертельно уставших людей.

А еще столбы пыли, поднятой стоптанными сапогами, копытами лошадей, колесами подвод и артиллерийских кавалькад.

Широко открытыми от удивления глазами Дуня Зотова смотрела на эти измученные, небритые, безвольные лица. Куда и зачем они брели, почему были уверены, что здесь, в Москве, встретят они свою славу и победу?

Вопросы, ответы на которые, думается, не дал бы ни один из этих некогда бравых гренадер Великой армии.

Как, впрочем, и в русском обозе никто не знал, куда они едут и что с ними будет дальше.

«Сейчас я пишу эти заметки и не знаю, что нас ждет впереди», — Михаэль Розен убрал блокнот в ранец.

Да, так оно и есть...

Из головы колонны раздался сигнальный горн, и все сразу же пришло в движение: люди, лошади, лафеты с водруженными на них орудиями, подводы фуражного обоза, линейные с красными флажками. Боровский тракт медленно, как бы нехотя, зашевелился под ногами, а обступившие его деревья поплыли назад, знаменуя однообразный, виденный сотни, если не тысячи раз пейзаж.

В эту минуту Розену показалось, что в этой рутине, в этих криках солдат и офицеров, в скрипе колес и лошадином храпе сосредоточена серая бессмысленная обыденность, когда ничего не происходит и тебя одолевают печаль, уныние, что так будет всегда, изо дня в день, из года в год. Только пыль, скрип, неразборчивые возгласы, только трата драгоценного времени на ненужное, на пустое, когда не с кем поговорить, когда мысли приходят, но, не найдя выхода, тут же умирают.

Блокнот, который сейчас лежал в ранце, притороченном к седлу, Михаэль впервые открыл с началом русской кампании, чтобы записывать в нем своим впечатления и мысли. Он был его единственным собеседником и другом, более того, он принадлежал еще его прадеду — Альфреду, известному в Потсдаме оружейнику, которого в Петербург пригласил лично император Петр I.

Согласно семейному преданию, в России Фёдор Казимирович,

как его звали на русский манер, конструировал скорострельную многозарядную пушку, которой он даже придумал имя — Большая Ансельма. Для этой надобности Альфред Розен всегда носил с собой этот самый блокнот, в котором он вел расчеты своего будущего изобретения. Идеи в виде формул и схематических набросков посещали голову Фёдора Казимировича постоянно. Также его влекли необъяснимые с точки зрения науки явления, которые нельзя было выразить при помощи цифровых комбинаций, но они были явью, следовательно, по мысли оружейника, их можно было так или иначе использовать при производстве Большой Ансельмы.

— Что было потом? — усмехнулся Михаэль, — а потом ничего не было, прадед умер от воспаления легких, производство пушки было остановлено, часть семьи вернулась в Потсдам, а часть осталась в Петербурге.

Выдохнул, огляделся — никто ли не видел, как он разговаривает сам с собой? Нет, все были заняты своим делом, все разговаривали сами с собой, со своими мыслями, страхами, потому что в любую минуту ждали, что лес расступится, разомкнет свои вековые объятия, и обоз десятого корпуса второй прусской дивизии окажется на линии огня русской артиллерии или на острие шквальной атаки казаков атамана Платова.

Причем, не было известно, что страшней...

Так, прикрывая при Бородине правый фланг тринадцатой пехотной дивизии генерала Дельзона, батарея Розена была атакована сотней казаков Уварова, которая на полном ходу врзалась во французские реданы, почти перелетела их, мгновенно оказавшись за спиной у полностью опешивших канониров. В ходе такого головокружительного маневра большинство всадников попадали из седел, но, оказавшись на земле, не растерялись и, выхватив сабли и пистолеты, бросились на французов.

Визг, свист, треск, хлопки выстрелов, лошадиное ржание, исступленные вопли, мычание, лязг металла мгновенно превратились в адскую какофонию, в хаос звуков, словно исходящий из преисподней. Чудовищную же картину побоища довершали разлетающиеся в разные стороны отрубленные конечности, хрипение умирающих и яркие вспышки пороховых зарядов, разбросанных по всей батарее, так и не успевшей сделать ни одного выстрела по внезапно налетевшим казакам.

Как тогда Розену удалось выжить, так и осталось для него загадкой.

И вот теперь, когда они отступали по Боровской дороге в сторону Козельска, ожидание атаки, от которой зависела жизнь

этих превратившихся в слух и напряжение людей, сузилось до осеннего пыльного тракта, зажатого между грозными и величественными стволами векового леса.

Впоследствии в своем дневнике, первая часть которого была заполнена арифметическими формулами и схематическими набросками Большой Ансельмы, сделанными еще Фёдором Казимировичем, Михаэль запишет:

«Мы вошли в лес, который, как мне показалось, был населен живыми существами. Они следили за нами отовсюду, но это были не люди. Движения их были столь неуловимы и быстры, а взгляды — столь остры и пронизательны, что я ощущал себя полностью беззащитным перед ними.

После нескольких часов движения стало ясно, что лес не только не поменялся, но обрел еще более сумрачные и непроходимые очертания. Казалось, что он вел нас по какой-то только ему ведомой дорожке.

Все чаще солдаты и офицеры просили у меня разрешения присесть на обочину тракта, потому что чувствовали нестерпимую дурноту и головокружение. Я, разумеется, разрешал, но скорость нашего движения вперед от этого не увеличивалась. Ночь здесь наступила внезапно, и в крошечной темноте нам пришлось ставить лагерь и разводить костры. Несколько канониров, отправленных за дровами, не вернулись. Стало ясно, что идти на их поиски сейчас никто не согласится, потому что приказы в такой обстановке не действуют. И тогда за ними пошел я, сказав, что скоро вернусь и ужин к тому времени должен быть готов».

Постепенно глаза привыкли к темноте, и взору Розена предстала целая чаща, деревья в которой были расставлены таким образом, что могло показаться, что они находятся в постоянном движении, не стоят на одном месте, но прячутся друг за друга, водят причудливый хоровод, задевая друг друга кронами, расковыривая в поисках живности вздыбленными корнями землю. При этом они напоминали совершенно хищных птиц, что в случае удачной охоты сжимали в кривых с наверху в виде острых загнутых когтей лапах полевую мышь или змею.

Сам не понимая зачем, он ускорил шаг, но тут же налетел на поваленный ствол, упал, вновь поднялся, теперь уже побежал и вновь упал, разбив лицо в кровь. Потом еще какое-то время, которое показалось вечностью, Розен, уже не разбирая пути, брел через дубраву в полной тишине, но, оказавшись в заболоченной ложбине, утыканной тонкими, мерно раскачивающимися в такт дыханию топи деревцами, что более напоминали вежи, вдруг

услышал у себя за спиной человеческие голоса, крики, выстрелы, лошадиное ржание, надрывный собачий лай.

Разбил лоб и колени.

Пот на спине заledenел, и острый пронизывающий холод постепенно, тяжелым, неподъемным грузом лег на плечи, придавил к земле, полностью отняв волю. Михаэль тут же и вспомнил, как в детстве старший брат часто говорил ему — «У тебя нет воли, ты безвольный!»

От этих слов, сказанных громко и хлестко, становилось невыносимо тоскливо, будто брат безо всякого сомнения оглашал приговор, а так как делал это довольно часто, то никогда не задумывался о том, что его слова могут доставлять боль. Это просто не приходило ему в голову. Видимо, он вообще не придавал словам такого большого значения, наделяя их лишь информативной функцией. Не более того! Он ставил в известность при помощи слов. А так как был человек он уверенный в себе и не терпящий никаких возражений, то не понимал, почему на него обижались за сказанное им.

Скорее всего, таким незамысловатым образом брат хотел изменить людей в лучшую сторону, наставить на путь истинный. Порой он даже начинал говорить притчами, вероятно, видя себя мудрецом, познавшим жизнь.

Другое дело, что все эти нравоучительные эскапады были почерпнуты им из дешевых брошюр, которые бесплатно раздавали в лютеранском приходе святой Екатерины, который Эрих Розен посещал по воскресным дням.

— Вот посмотри на это дерево, — говорил старший брат младшему, — видишь, как оно огромно, как уродливы его корни и страшна его кора, а ветви, как корявые руки старух, тянутся к небу, но не могут до него дотянуться. Оно уже не может давать жизнь. И тогда ветер набрасывается на старое дерево, а так как оно уже не в силах изгибаться под его стремительными порывами, то начинает утробно, словно с трудом переваривает тяжелую пищу, трещать. Ветер крепчает, и треск усиливается. А теперь посмотри на этот слабый росток...

При этих словах Эрих поднимал вверх левую руку, словно указывал на этот самый воображаемый росток, перебирал в воздухе пальцами, начинал опускать руку вниз и при этом продолжал вещать:

— Он тонок и слаб, но он красив и мягок, ветер гнет его к самой земле, но не в силах сломить!

Михаэль сел на землю.

Постепенно понимание того, что с ним сейчас произошло и что произошло там, на Боровском тракте с остатками десятого

корпуса второй прусской дивизии, начало приходить к нему. Осознание этого властно и неизбежно перекрывало все иные ощущения и состояния — холод, смертельную усталость, тупую ноющую боль, страх.

Значит, отправившись на поиски канониров лишь во исполнение нравственного долга, проявив при этом безволие и покорность обстоятельствам, не проявив офицерской настойчивости и совершенно не подумав о том, что его может ждать одного в ночном лесу в глубоком русском тылу, Розен невольно ощутил, что совесть его чиста, спокойна, и это спокойствие наполняет все его существо. Ему даже захотелось улыбнуться, потому что для своего спасения он не сделал ничего безнравственного, противного, просто так вышло. Это не было хитроумным расчетом, но таким образом сложившимися обстоятельствами, в замысловатом ходе которых было невозможно себя упрекнуть. Конечно, и Михаэль понимал, что во всяком стечении событий есть свой смысл, свой план, понять который порой не представляется возможным. Да, спустя годы понимание произошедшего все-таки наступает, но само ожидание этого наступления понимания есть часть большой душевной работы, когда ты беседуешь сам с собой, сомневаешься, ищешь ответы на вопросы и не находишь их, порой оказываешься на грани отчаяния, считаешь часы, дни, наконец полностью забываешь о времени и уже ни на что не надеешься.

Розен зажал ладонями уши, и сразу наступила тишина.

Игнат Зотов повернулся на бок, зажал ладонями уши, и сразу наступила тишина, которая на самом деле тишиной не была, но монотонным гулом, что присутствовал внутри его головы. И теперь, когда внешних звуков не существовало, ведь они были отсечены ладонями, он стал естеством, единственным знаком того, что ты жив, потому что полная тишина наступает после смерти.

После пережитого пожара, после гибели в нем матери, младшего брата, после исчезновения дома, в котором прошло детство, в Игнате что-то надломилось. Он сам это почувствовал, переживал от того, что душа его словно очерствела и он уже никогда не сможет быть таким, каким он был до той сентябрьской ночи 1812 года.

И вот сейчас, когда он смотрел на проходящие мимо обозы пеших гренадер Имперской гвардии, на раскачивающиеся в поднятой тысячами ног и копыт пыли значки и штандарты полков и батальонов, он ощущал в себе лишь абсолютную ледяную пустоту ярости, которая давно переплавилась и окаменела, как это бывает у давно отчаявшейся вырваться на свободу цепной

собаки — огромного лохматого чудовища на тонких жилистых лапах.

Зотов хорошо запомнил, как однажды в детстве, зимой, возвращаясь с сестрой после всенощной через Пресненскую пустошь, они наткнулись на, по всей видимости, бешеную собаку.

Тогда от неожиданности Дуня резко встала и замерла на одном месте, а от этой внезапной остановки Игнат наткнулся на нее, поскользнулся и упал.

— Не вставай! — на едином выдохе свистящим полусшепотом выкрикнула сестра и, закрыв собой брата, подняла с земли огромную суковатую палку.

Собака зарычала, оскалила зубы, подернутые желтой пеной, и придурковато вывернула голову вправо-вниз, словно ее морду сковала судорога.

— Уходи! — Дуня сделала шаг вперед и замахнулась на собаку, — пошла прочь!

Больное животное медленно перевело взгляд на девочку, прижало уши к голове, закатило глаза и завывало. От страха Игнат уткнулся лицом в мокрые, пахнущие овчиной рукавицы и заплакал, затрясся от сотрясающих его рыданий, боясь зарыдать вслух.

Однако неожиданно, как и начался, вой прекратился.

Собака сделала несколько вихляющих шагов назад и легла на снег.

— А теперь вставай и пошли! — неожиданно громко произнесла Авдотья Иннокентьевна, обращаясь к брату, — не бойся! Она не тронет! — и бросила палку на землю.

Суковатая дубина упала на снег.

Игнат Иннокентьевич пошевелил губами, словно при помощи беззвучных фраз попытался объяснить себе, что тишина заключается не в отсутствии звуков, но в отсутствии слов, а потом резко убрал ладони от ушей, и низкий женский голос тут же ворвался ему в голову:

Разорил Москву неприятель злой,
Неприятель злой, француз молодой,
Повыкатывал француз пушки медные,
Направлял француз ружья светлые,
Он стрелял-палил в Москву-матушку,
Оттого Москва загорелася,
Мать сыра земля потрясалася,
А все Божьи церкви развалилися,
Златы маковки покатилися...

А ведь сначала и не узнал голос сестры, он показался Зотову каким-то чужим, принадлежащим неизвестной женщине. И вот сейчас он отстраненно смотрел на нее, как она пела, как раскачивалась в такт мелодии:

Как на горочке было, на горе,
На высокой было, на крутой,
Тут стояла нова слобода,
По прозваньицу матушка Москва,
Ожидала своей лютой гибели...

Ожидание как душевный труд, как грань отчаяния, как поиск ответов на вопросы, как отсутствие времени, как постижение той непреложной истины, что ожидание когда-нибудь заканчивается.

И Михаэль убрал ладони от ушей.

— Ты кто таков будешь?

Розен обернулся — перед ним стояла высокая молодая женщина в полушубке. В руках она держала кавалерийский штуцер со взведенным замком.

— Авдотья Иннокентьевна, да француз это, черт нерусский! Кончать его надо! — пришепётывая, скороговоркой выпалил бородатый беззубый мужик-лесовик в рваном тулупе с подвернутыми до локтей рукавами и масляной лампой, притороченной к поясу.

— Ну-ка посвети на него...

— Можно, Авдотья Иннокентьевна, и посветить на супостата, — ловким движением лесовик отстегнул лампу и, подняв ее над головой, двинулся к Розену.

Михаэль отчетливо увидел его худую жилистую руку, по которой, как по мутным, заросшим улитками стенкам аквариума, что стоял в доме его отца в Потсдаме, начали движение блеклые тени-змеи.

Подойдя к Розену почти вплотную, бородатый мужик наклонился к самому лицу Михаэля, осветив оба лица одновременно — свое и артиллерийского офицера десятого корпуса второй прусской дивизии.

— А вы похожи, — рассмеялся выросший из темноты рослый кудрявый парень.

— Тьфу на тебя, Митька! — мужик-лесовик бешено завращал глазами, чем еще больше рассмешил окруживших Розена партизан.

Эти освещаемые слабыми желтоватыми сполохами масляной лампы улыбающиеся лица, возникшие из ниоткуда, вдруг напомнили Михаэлю лесных жителей из сказки о Гензель

и Гретель, которую ему в детстве рассказывала мать, и, сам не зная почему, он тоже улыбнулся.

— Смотри-ка, а наш-то француз веселый! — заголосил лесовик, хотя теперь он больше походил на скомороха, что размахивал своей лампой, кривлялся и совсем не был похож на человека, который еще несколько минут назад призывал убить пленного.

— Скор ты на расправу, Парамоша, — пробасил кудрявый парень.

— Да, — продолжал блажить лесовик-скоморох, — мы, калужские, такие, потому и праведники!»

Глава 1

Из Калуги выехали в двенадцатом часу, хотя планировали начать движение в начале одиннадцатого. Тут пока прособирались, пока ловили попутку, ей оказался армейский грузовик, шедший порожняком в Сухиничи, пока выбирались за Оку, на мосту проводился ремонт и было организовано однопутное движение, которым управлял грозного вида ушастый регулировщик в фуражке, надвинутой на самые глаза.

Слепил целлулоидным козырьком на солнце — злодей, зыркал по сторонам свирепо, приговаривал: «поехали-поехали, не задерживаемся», правил этот самый лучезарный козырек указательным пальцем без ногтя.

Так и время пролетело незаметно.

Наконец выбрались из затора, поднялись до деревни Сикеотова, названной так по церкви Федора Сикеота, что и понятно, а Калуга при этом осталась за спиной, под высоким правым берегом, и легли на курс, на Каменку, от которой до Шамордино рукой подать.

Была середина августа 1950 года.

Тепло.

Солнечно.

Сухо.

Жену Галину и младшего брата Витю посадил в кабину к водителю, сам же устроился на деревянной скамейке в кузове грузовика с откинутым брезентовым верхом.

На скорости этот брезент гремел на горячем встречном ветру, который был замешан на вонючем бензиновом прогаре, столбом стоящей по обочинам дороги песчаной пыли и запахе далеких костров: видимо, где-то на лесосеках жгли сучья.

Как тут было не вспомнить август 1942 года, когда их, призывников точно на таком же бортовом грузовике перебрасывали с Тбилисского карантина в Кахетию, где дислоцировался 10-й отдельный запасной минометный дивизион.

Тогда все сидели молча, испуганно смотрели по сторонам, вероятно, думали о том, что сейчас творится в Сталинграде, со страхом мечтали оказаться на месте защитников города. Не знали, вернее, не могли знать, что силами 4-го воздушного флота люфтваффе город тогда уже был разрушен до основания, превращен в гигантский пылающий кратер, в котором погибло более 90 тысяч человек, а на северную окраину Сталинграда, в районе поселков Акатовка и Рынок, вышла ударная группировка 6-й немецкой армии.

По прибытии в расположение дивизиона всех построили на плацу, провели перекличку и повели строем в казармы, под которые были переоборудованы местный клуб и несколько складских барakov.

Новобранцев старослужащие встретили без особого энтузиазма, неприветливо встретили, мол, какой от этих мальчишек толк — ни дисциплины, ни умения, только суета и беспорядок.

До принятия присяги так и ходили кто в чем, разве что выданные командованием шапки альпийских стрелков, неизвестно откуда взявшиеся в этих краях, хоть как-то напоминали о том, что это 10-й отдельный запасной минометный дивизион, а не пионерлагерь.

И это уже потом были поход в баню, опять же строем, выдача новой формы, присяга в Тбилисском Доме офицеров, отправка в учебку, а затем и на Северо-Кавказский фронт под Моздок в составе минометной бригады 254-го гвардейского кавалерийского полка.

Тогда переброска осуществлялась на американских «Студебеккерах», сейчас ехали на 150-м ЗиСе.

До Перемышля долетели за полчаса.

Остановились у рынка в центре города.

Водитель-срочник побежал за куревом.

Галя и Витя выбрались из кабины, чтобы размять ноги.

Огляделись.

На Рождественском храме, переоборудованном под дом пионеров, висел выгоревший на солнце плакат, на котором был изображен товарищ Сталин в окружении улыбающихся школьников. На плакате было начертано — «Пусть здравствует и процветает наша Родина!»

— Булат, а сколько нам еще осталось ехать? — обратилась Галя к так и оставшемуся сидеть в кузове мужчине, что неопределенно повел плечами в ответ:

— Не знаю, километров сорок, может быть...

Нет, он совершенно не понимал, как мог оказаться здесь, в этой местности, затерянной между Калугой и Сухиничами, более чем в двухстах километрах от Москвы, никак не мог свыкнуться с мыслью о том, что именно здесь ему теперь предстоит жить и работать.

Конечно, все предшествовавшие события жизни Булата должны были приучить его к тому, что подобные повороты возможны и даже неизбежны. И умом он, конечно, понимал эту данность, но вот привыкнуть, найти сердечный отклик внутри себя, принять ее почему-то не получалось.

— Поехали, — весело крикнул водитель, неожиданно вынырнувший из рыночной толчи. Лицо его выражало бесконечное удовольствие, видимо, затея с куревом увенчалась полным успехом. Ловко прыгнул в кабину и запустил двигатель.

В 1950 году Булат Шалвович Окуджава окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета имени И.В. Сталина и перебрался в Москву, где ему по распределению как сыну «врага народа», было предложено проследовать сначала во Владимир (тут даже и слушать не захотели о его трудоустройстве), а затем в Калугу.

Разумеется, безропотно проследовал, но и здесь его не оставили, а перенаправили в среднюю школу деревни Шамордино Перемышльского района.

Все эти мытарства (предумышленные, разумеется) напоминали ему ссылку, негласное наказание. Естественно, имея репрессированного в 1937 году отца и мать, отбывающую срок по статье 58–10 УК РСФСР на поселении Большой Улой в Красноярском крае (причем уже второй срок), на что можно было рассчитывать другое?

Ни на что...

Подняв тучу сухой песочной взвеси, грузовик развернулся на площади перед домом пионеров и свернул в первую улицу, тесно заставленную деревянными одноэтажными домами.

Булат оглянулся.

Ему показалось, что Иосиф Виссарионович на минуту отвлёкся от своих юных друзей и провожает его своим ласковым, с прищуром, взглядом, как бы напутствует, ведь молодому учителю и фронтовику пойдет только на пользу эта поездка по «здравствующей и процветающей нашей Родине».

Кузов загрохотал на выбоинах, тут же в такт захлопал брезентовый верх, и видение пропало в дорожной пыли.

Всю дорогу до Каменки, вернее, до поворота на Шамордино, убеждал себя в том, что никакая это не ссылка, что, как ему сказали в областном отделе народного образования, это прекрасная возможность собрать уникальные материалы о Льве Николаевиче Толстом, бывавшем в этих краях, а также о его сестре Марии Николаевне, которая была монахиней Казанского Шамординского монастыря.

Сначала эта мысль казалась заманчивой — уход великого старца, его духовное общение с сестрой, богоборчество и одновременно богоискательство Льва Николаевича. Однако по мере приближения к Шамордино все это более и более обретало черты чего-то крошечного, далекого, возбуждающего любопытство, но не более того, не могущего стать смыслом новой жизни.

Именно новой, когда закончилась война, наступил мир и все должно быть совсем по-другому.

Булат смотрел на пронесившиеся мимо заборы и кособокие деревянные постройки, колхозные сады и стоящих вдоль дороги стариков с окладистыми седыми бородами, усмехался — нет, не получается себя переубедить, хотя некоторые из этих стариков очень даже походили на графа Толстого.

Булат хорошо запомнил тот февральский день 1937 года, когда его отца — Шалву Степановича Окуджаву, первого секретаря Нижнетагильского горкома партии, арестовали по делу о троцкистском заговоре на Уралвагонстрое.

Потом брел после уроков по пустому школьному коридору, а со стен на него с укоризной смотрели Пушкин и Маяковский, Николай Васильевич и Лев Николаевич.

Вдруг до его слуха донеслось: «Вон, сын троцкиста идет».

Оглянулся, попытался догнать обидчика.

Безуспешно.

Слезы выступили на глазах.

И тогда неожиданно пришло в голову, а может быть его отец действительно виноват перед этим самым Уралвагонстроем, перед товарищами по партии, да и вообще перед всеми коммунистами Нижнего Тагила и СССР, может быть, его арестовали за дело, потому что всем было известно, что враг не дремлет и даже самые опытные и проверенные большевики могут ошибаться, встав на путь измены.

С этими мыслями, от которых мутился рассудок, сам не помня, как, он пришел домой, но когда мать открыла ему дверь, то отчетливо понял, что не может убедить себя в том, что его отец виновен, что он может быть предателем.

Это было как вспышка, как озарение, после которых стало легче дышать.

Когда подъехали к Каменке, то небо затянуло грозowymi облаками, и поднявшийся ветер задышал приближающейся осенью, принесся первые капли дождя.

Остаток пути до Шамордино, а это не более двух километров, пришлось проделать пешком. Разбитая дорога тут поднялась в гору, сделала крюк и вывела к излучине реки Серёны, которая извивалась на дне огромного, более напоминавшего каньон, оврага. На горизонте вознеслись сумрачные, красного кирпича сооружения бывшего Казанского монастыря.

Дождь усилился.

«Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг... А там, за оврагом, — Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся

детскую гармошку.

...Как хорошо! Как тихо! И солнце... Внизу, под холмом, счастливой подковкою изогнулась река. На горизонте лес. Почему я отказывался ехать сюда? Не помню. Уже не помню...» — напишет впоследствии Булат Шалвович о Шамординских далях.

Конечно, в годы юности мечтал поселиться где-нибудь в русской глубинке, чтобы жить в старинном деревянном доме с верандой с видом на реку и заливные луга, заниматься тут творчеством в уединении, совершенно уподобившись при этом Александру Пушкину в Михайловском или Николаю Некрасову в Карабихе. Мечтания, которым, впрочем, предается любой горожанин, знакомый с «деревенской» жизнью лишь по книгам или по визитам к друзьям на Николину Гору, в Комарово или в Перedelкино.

На самом же деле все обстояло совсем по-другому.

Семью Булата поселили в двух крошечных комнатках в учительском общежитии, которое размещалось в бывшем келарском корпусе монастыря.

Печное отопление.

Дров не хватает.

Удобства на улице.

Колонка зимой замерзает.

За водой надо ходить на реку — метров пятьдесят по отвесному склону вниз, а потом с полными ведрами наверх.

Баня по воскресеньям.

Электричества нет.

Освещение керосиновыми лампами.

За продуктами по субботам надо ездить на рынок в Козельск, а это 20 километров.

Подсобное хозяйство (огород или скотина), без которого тут не выжить.

Обязательные сельхозработы вместе с учениками и коллегами-учителями.

И наконец, сама Шамординская средняя школа, которая располагалась в бывшем двухэтажном больничном корпусе монастыря, — шестьсот учеников, занятия в две смены.

Булат Шалвович вспоминал: «Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне... Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным.

Однако с грамотностью у «меднолицых моих» хуже некуда, до книг неохочи, учеба для них — и повинность, и какой-никакой отдых от непосильной, с ранних лет, работы в колхозе и дома...

Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца “Я памятник себе воздвиг...” Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил. Не делайте серьезных физиономий! А вам, чудак, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь — нам немного отпущено.

— Давайте дополним программу, а? — смеюсь я.

А они молчат.

— Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил...»

Возвращался после занятий в свою «келью» поздно совершенно опустошенный.

Не было ни сил, ни желания что-то писать, сочинять, а ведь надо было еще проверить тетради, подготовиться к завтрашним занятиям, протопить печь.

Так и сидел за столом с остановившимся взглядом, хлебал сваренный Галей из дешевой Козельской колбасы суп и выслушивал бесконечные жалобы младшего брата на одноклассников, на деревенскую нищету и убожество, и, конечно, на самого себя, на старшего брата, который завез его в эту дыру, где только и остается, что сдохнуть.

Директор школы Михаил Солохин дал Булату восьмые классы, а также классное руководство в шестом. Школяры, некоторые из которых выглядели старше своего учителя (было много второгодников), смотрели на Окуджаву с недоверием, принимая требовательность «городского мальчика» за заносчивость, а строгость — за надменность.

При таком положении дел, что и понятно, конфликты были неизбежны.

Например, Булат сразу предупредил, что никаких поблажек и скидок на тяжелые условия жизни не будет, что все находятся в одинаковом положении, всем трудно, и все обязаны учиться.

Директор школы и учителя, конечно же, встали на сторону детей, но вовсе не по причине своего повышенного гуманизма и филантропии, а потому, что ужасающие показатели по таким предметам, как русский язык и литература, кардинальным образом портили ежемесячные благообразные отчеты в облоно о достижениях и успехах в сельском образовании на местах.

Конфликт дошел до того, что Окуджаву вызвали на Шамординский педсовет, где обвинили в отрыве от коллектива, в высокомерии, в нелюбви к советским детям, также всплыла тема его неблагонадежности, так как он является «сыном врагов народа».

Булат был в бешенстве.

Неожиданно помощь пришла из Калуги.

Рассматривая жалобу директора школы тов. Солохина на учителя русского языка и литературы тов. Окуджаву, комиссия областного отдела народного образования, ознакомившись с предоставленными материалами, пришла к выводу, что тов. Солохин занимается очковитирательством и подтасовкой фактов, а также допускает грубейшие ошибки при решении кадровых вопросов в подведомственной ему школе.

Тогда ограничились выговором «без занесения».

Солохин был раздавлен.

Итак, Окуджава вышел победителем в том конфликте, и отношение коллег к нему сменилось с презрительного на подобострастно-уважительное, но он прекрасно понимал, что это временный успех, на него затаили обиду и не преминут воспользоваться его слабостью или ошибкой, чтобы тут же и утопить.

Доедал суп и отодвигал пустую тарелку.

Затем вставал из-за стола. Выходил на крыльцо, где закуривал.

Из деревни доносился лай собак.

В общежитии все спали.

Конечно, масштаб событий был совершенно несопоставим — деревенская свара в Калужской глубинке и большие аппаратные игры на уровне горкомов партии и политических группировок. Но именно сейчас, пристально всматриваясь в ночное осеннее небо и черную бесформенную громаду Казанского собора, Булат начал понимать, что же произошло с его отцом на самом деле.

Шалва Степанович Окуджава родился в 1901 году в Кутаиси. В 1918 году вступил в ряды РКП(б), с 1921 по 1922 год занимал должность заведующего отделом ЦК комсомола Грузии, учился на экономическом факультете первого Государственного университета, в 1924 году перешел на партийную работу, на должность заведующего агитационным отделом Тифлисского горкома партии, в 1929 году окончил институт марксизма-ленинизма, с того же года — член ЦК Грузии, однако, вступив в конфликт с Лаврентием Берией, был вынужден покинуть Тбилиси, при участии Серго Орджоникидзе в 1932 году получил должность секретаря парткома Уралвагонстроя, а в 1935 году стал первым секретарем Нижнетагильского горкома ВКП(б), всегда считал себя большевиком ленинского призыва.

Все знавшие Шалву Степановича отмечали его порядочность, бескомпромиссность и категорическое неумение быть партийным приспособленцем, что, видимо, и стало причиной его роковой размолвки с Берией. С другой стороны, Окуджава-старший,

имевший до определенного момента тесные контакты с грузинскими анархистами и национал-большевиками, был не чужд разного рода жестким мерам при решении партийных и хозяйственных вопросов. И, наконец, в лице Серго Орджоникидзе Окуджава-старший имел весьма влиятельного покровителя, и потому до поры был лицом неприкосновенным, при том, что в партийных кругах у него было достаточно недоброжелателей.

Как видим, фигура сложная, многоликая и во многом типичная для своего времени, когда политическая борьба, внутрипартийные дискуссии, поиск стратегических противников и попутчиков, разоблачение первых и сближение со вторыми были смыслом жизни, без остатка подчиненной делу *Ленина*. Правда, в 30-х годах к словосочетанию стали прибавлять: «Сталина», что у старых большевиков, хорошо знавших недоучившегося семинариста Кобу Джугашвили, вызывало усмешку.

Энергичный, никогда не унывающий — по крайней мере, таким запомнил сын отца. И, разумеется, человек с такой улыбкой просто не мог иметь «двойного дна», не мог лгать и предавать друзей.

*Он был худощав и насвистывал старый,
давно позабытый мотив,
и к жесткому чубчику ежеминутно
его пятерня прикасалась.
Он так и запомнился мне на прощанье,
к порогу лицо обратив,
а жизнь быстротечна, да вот бесконечной
ему почему-то казалась...*

Следует понимать, что Шалва Степанович был не просто уверен в правильности своего выбора и своей идеи, он был фанатично предан им, был готов отдать за них жизнь, порой не умея при этом разглядеть в бытовой рутине коварства соратников по борьбе за «светлое будущее».

Декабрь 1934 года.

Шалва Степанович выступает на траурном митинге по убитому Сергею Мироновичу Кирову.

Речь его эмоциональна, он кричит, размахивает руками, он почти плачет, он говорит о том, что врагу не удастся запугать большевиков подлыми выстрелами в спину.

Булат стоит в толпе слушающих его отца и с ужасом убеждается в том, что на самом деле его никто не слушает, разносятся досужие разговоры вполголоса, смешки, видимо,

травят анекдоты, курят в рукав, никому нет дела до этого кричащего человека, изо рта которого валит пар.

Но при этом все эти люди пришли на митинг, чтобы выразить свою скорбь и солидарность с погибшим Миронычем.

Булат теряется в догадках — что происходит? значит, все эти люди лгут? но что их заставляет лгать? страх? желание выслужиться перед начальством? подлая человеческая натура?

Отец заканчивает свою речь и сходит с трибуны.

Он разгорячен, он еще полон переживаний, ведь сейчас он вновь прочувствовал эту трагедию потери товарища, которого так любил и уважал.

Митингующие провожают оратора насмешливыми взглядами, но при этом одобрительно кивают головами и аплодируют.

Булату становится невыносимо обидно за отца, который в своем совершенно искреннем революционном запале, даже исступлении, не видит, что происходит у него за спиной. И в эту минуту хочется закричать: «Папа, оглянись, посмотри на этих людей, не верь им, потому что они смеются над тобой, они ждут только одного, когда ты оступишься!», — но сделать это, увы, невозможно.

18-го февраля 1937 года застрелился товарищ Серго.

Шалва Степанович Окуджава был арестован в тот же день.

Стало быть, он был обречен, и он понимал это, но уже не мог свернуть с пути, измениться, стать другим, пересмотреть взгляды, найти новых политически выгодных друзей, примириться с подлецами и забыть их подлость. Он, как тяжело груженный железнодорожный состав, на всех парах летел к своей гибели по путям, наудалую проложенным еще Ульяновым (Лениным), не отдавая при этом себе отчет в том, что давно проскочил стрелки и лавирование уже невозможно.

Когда отца казнили, ему было 36 лет.

Когда Булат стоял на крыльце учительского общежития в Шамордино, ему было 26.

Через десять лет они сравняются в возрасте.

А что будет потом?

Докурил, затушил окуроч в пепельнице, сооруженной из консервной банки, которая была прибита к перилам.

Нет, сейчас он не знает, как ответить на этот вопрос, сейчас он думает о том, как достичь этого возраста, с какими багажом к нему достойно прийти.

В мае 1951 года Булат Шалвович выпустил свой первый класс.

Сохранилась фотографическая карточка, на которой Окуджава в окружении учеников позирует безымянному

фотографу на фоне зарослей бересклета.

В первом ряду девочки — числом девять.

Лица сосредоточенные, одеты празднично, только одна улыбается.

А потом и одиннадцать мальчиков — не улыбается никто, все в пиджаках, модные прически того времени — с высоким начесом, виски и затылки аккуратно выбриты, взгляды строгие, недетские.

Все участники съемки (в том числе и Виктор Шалвович Окуджава, закончил школу с серебряной медалью) смотрят прямо перед собой, в объектив фотоаппарата, разве что Булат повернулся на три четверти.

Кажется, что он уже принял решение и знает, куда проляжет его дальнейший путь, не в смысле целеуказания, а в смысле осознания того, что поиск внутренней свободы не является обязательным к исполнению всеми теми, кто тебя окружает. Каждый заслуживает своего удела, своей судьбы, и никого нельзя насильно осчастливить. Нужно просто вовремя отойти в сторону, предоставив «мертвым погребать своих мертвецов».

Вполне возможно, что зерна в Шамордино упали не на каменистую почву и не в придорожной пыли, вполне возможно, что «меднолицые ученики» Булата если не услышали, то хотя бы узнали, что можно услышать нечто, не относящееся к их тяжелой повседневной жизни, которая этой самой тяжестью вовсе не исчерпывается. Но данная страница в жизни молодого учителя была перевернута бесповоротно, а продолжение изнурительной и бессмысленной борьбы с административной рутинной под пристальными и недоброжелательными взглядами коллег просто не имело смысла.

Из Шамордино уехали в июне и тоже на грузовике. На сей раз, правда, не на армейском, а на колхозном с Козельской автобазы.

Галю опять посадил в кабину (Витя к тому времени уже был в Москве, поступал в МГУ), а сам забрался в кузов.

Напоследок оглянулся.

Нет, никто ему вслед не смотрел, как тогда в Перемышле с выгоревшего на солнце плаката, что висел над входом в дом пионеров. Разве что циклопические, красного кирпича сооружения Казанского Шамординского монастыря, куда к своей сестре в октябре 1910 года приезжал Лев Николаевич Толстой, безмолвно нависали над ним, над гравийкой, по которой неслись грузовик, да над поймой реки Серёны.

Итак, новый учебный год Окуджава встретил уже в средней школе райцентра Высокиничи, расположенного на полпути между

Серпуховом и Малоярославцем.

Здесь преподавательский коллектив разительно отличался от Шамординского. Так как по распределению в райцентр прибыли выпускники московских вузов, то довольно быстро тут сложилась дружная и веселая компания молодых учителей, в которой Булат и Галя заняли не последнее место.

Вместе ходили на Протву, о которой спустя годы Окуджава неожиданно скажет: «Протва — исток моей жизни», а еще допоздна сидели у костра на высоком берегу, который тут назывался Коряжка, и пели под гитару.

Вполне возможно, что и эту песню, одну из первых Окуджавы:

*Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори...
На смену декаблям
Приходят январь.*

*Пусть все дано сполна —
И радости, и смех,
Одна на всех луна,
Весна одна на всех...*

Неистовство и упрямство — об этих качествах Булат знал не понаслышке.

Ашхен Степановна Налбандян (мама Булата Шалвовича) родилась в 1903 году в Тифлисе. Окончила институт народного хозяйства имени Плеханова в Москве по специальности «экономист текстильной промышленности». В конце 20-х — начале 30-х годов работала по профессии в Москве и Тбилиси. С 1931 года — инструктор горкома партии, работала вместе с С.М. Кировым. В 1935–1936 годах — заведующая отделом кадров на Уралвагонстрое в Тижнем Тагиле.

После ареста мужа — Шалвы Степановича Окуджавы вместе с детьми переехала в Москву, где с 1938 по 1939 год работала плановиком на швейной фабрике, занималась общественной работой. В феврале 1939 года арестована и осуждена на пять лет по статье 58–10 части 2 УК РСФСР, срок отбывала в Карагандинских лагерях ГУЛАГа НКВД СССР. Находясь в заключении, работала экономистом-финансистом в лагерном совхозе. Освобождена в 1946 году и до 1949 года проживала в городе Кировокане Армянской ССР (вместе с младшим сыном Виктором), где работала старшим бухгалтером на трикотажной фабрике. В мае 1949 года была осуждена повторно и приговорена к ссылке на поселение в село Большой Улуй Красноярского края.

В июле 1954 года освобождена.

Стало быть, когда Булат в должности преподавателя литературы и русского языка начинал свой второй учебный год в средней школе Высокиничей, его мать отбывала второй срок в Красноярском крае.

*Чуть за Красноярском — твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
Чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...
Прости его, мама: он не виноват,
Он себе на душу греха не берет —
Он не за себя ведь — он за весь народ.*

Эти строки из стихотворения Булата Шалвовича «Письмо к маме», написанные в 1975 году, вполне возможно, стали проекцией всей переписки сына и матери, которая, увы, не сохранилась, и судить о содержании которой мы можем лишь умозрительно, лишь воображая, как бы реагировал Булат на скупые заметки Ашхен о своем лагерном быте и как могла бы относиться мать к вестям о жизни сына без нее, о его учебе в университете, о мытарствах с распределением, о семье, о его новых стихотворениях.

Так далеко, так близко...

...когда воспоминания становятся реальностью, когда невозможность видеть любимого человека уравнивается осознанием того, что он просто где-то есть и с ним возможно беседовать мысленно, живя надеждой на то, что встреча неизбежна, но пока по не зависящим ни от кого причинам просто откладывается.

Конечно, речь в данном случае идет о вечном как мир противостоянии разума и чувства, и далеко не всегда удастся быть сильнее собственных эмоций, в чем потом, как правило, придется раскаиваться.

Спустя годы, когда разговор заходил о родителях, Булат Шалвович с сожалением замечал, что, увы, ему не хватило любви и внимания матери и отца (когда Шалва Степанович еще был жив), ведь они были полностью погружены в работу, посвящая ей все свое время. Общение же с сыном было скорее эпизодическим и, видимо, поэтому ярким и запоминающимся. Булат жил ожиданием новой встречи, которая могла произойти через месяц, через три месяца, через полгода.

После ареста Шалвы Степановича Ашхен Степановна,

казалось, вобрала в себя всю энергию и неистовство мужа — большевика-ленинца, упрямо преодолевая нечеловеческие трудности, обрушившиеся на нее и на ее детей, но не сворачивая при этом с раз и навсегда выбранного пути — общественника, революционера, борца.

Вполне возможно, что ее фанатизм и непреклонность пугали и одновременно восхищали Булата.

Здесь, скорее всего, сошлись воедино не только приобретенные за долгие годы партийной борьбы качества, но и врожденные черты характера, пришедшие еще из детства.

Спустя годы Булат Шалвович так напишет о своей матери и ее армянских родственниках: «Прадедушку и прабабушку не знаю. Дедушка — Степан Налбандян был машинистом на... водонапорной станции, увлекался столярным делом. Всю мебель в своем доме соорудил сам, да еще какую, с художественной резьбой, где аисты выглядывали из зарослей, окруженные <...> и изощренным орнаментом. Господствовали классические формы, те самые, из-за которых сейчас ломают головы; кроме того мой дедушка любил чтение, хотя времени на это было мало. Он был вспыльчив, но отходчив. Под горячую руку лучше было ему не попадаться, зато в другие минуты его сердце и крепкая шея были к вашим услугам. Он женился на бабушке, Марии Вартановне Хачатурян, когда ей было шестнадцать. Ее отец был торговцем на Авлабаре, и довольно зажиточным. Как он отдал свою юную дочь за рабочего — непонятно. У меня фотография дедушки и бабушки той поры. Они красивы на ней и полны мягкого достоинства, и, видимо, без любви там не обошлось. У них было много детей: Сильвия, Гоар, Анаида, Ашхен, Рафаэль и Сирануш.

Ашхен — моя мама.

Семнадцати лет она вступила в партию большевиков, во времена меньшевистского подполья. Теперь невозможно объяснить, почему именно она включилась в эту тайную, опасную жизнь, не походя на своих сестер — ... благонамеренных невест. Правда, мне рассказывали, что в детстве она не играла в куклы, а предпочитала стрелять из рогатки, лазить по деревьям вместе с мальчишками».

По воспоминаниям людей, знавших Ашхен Степановну, она всегда производила впечатление человека целеустремленного, всегда была подтянута, аккуратно до чопорности одета, немногословна, остроумна, решительна, было в ее внешности что-то аристократическое, и даже отбыв два срока, она мало изменилась внешне, невзирая на все лишения, перенесенные ею в ГУЛАГе.

С возрастом Булат все чаще задумывался над смыслом той

жертвы, которую этому безумному выбору, этому движению напролом через моря крови и горы трупов, через смерть родных и близких принесли его родители.

Мысль рождалась мучительно, выводы страшили, силлогизм обескураживал — жертвой были не только сотни тысяч безымянных соотечественников, но и он сам, а также его младший брат.

От осознания подобного становилось еще тяжелей.

Единственное, что ему придавало силы, так это, как ни странно, возможность много думать в этой глухой Калужской провинции, пытаться разобраться в самом себе, перебирать детские воспоминания, полностью приняв неспешный ритм местной жизни за единственно возможный и правильный.

По воспоминаниям питомцев Окуджавы, его стиль ведения занятий разительно отличался от того, с чем им приходилось сталкиваться раньше. Булат Шалвович почти не пользовался учебником, рассказывая о том или ином литераторе или о его произведении, он непременно цитировал наизусть отрывки из его сочинений, будь то стихи или прозаический текст, учил не тупо зубрить, а пытаться вдуматься в текст, уловить в нем мысль, услышать в нем музыку. Нередки были случаи, когда заинтересованное обсуждение продолжалось и после звонка с урока, чего раньше в средней школе Высокиничей, наверное, не случалось никогда.

Однако сталинская рутина давала о себе знать.

Все началось с неявки преподавателей Новикова Ивана Григорьевича, Окуджавы Булата Шалвовича, Прошляковой Галины Алексеевны и Суховицкой Майи Семеновны на праздничную демонстрацию 7 ноября.

Портреты членов Политбюро ЦК ВКП (б) и самодельные плакаты «Долой власть капитала!», «Сталин ведет нас к победе» и «Великому Октябрю — слава!» по центральной улице Высокиничей пронесли местные агрономы, рабочие слесарных мастерских, партийные работники, доярки из подшефного колхоза и учащиеся старших классов, колонну которых возглавил директор школы Михаил Илларионович Кочергин.

Оргвыводы последовали незамедлительно.

На педсовете прогульщикам мероприятия был вынесен устный выговор-предупреждение. Более того, после проведенной проверки «вдруг» выяснилось, что тов. Новиков, Окуджава, Прошлякова и Суховицкая халатно относятся к своим обязанностям. В частности, «внешний вид тетрадей учащихся 5–6 классов оставляет желать лучшего, они сильно помяты, на их листах много чернильных пятен, у многих тетрадей не соблюдены

поля, многие учащиеся отчеркивают поля небрежно, каллиграфия письма учащихся в большинстве случаев плохая, преподаватели не отражают в тетрадях борьбы за хорошую каллиграфию... также необходимо усилить внеклассную работу с учащимися, устраивая вечера чтения художественной литературы, читательские конференции, просмотр диапозитивов, кинокартин учебного характера, устройство выставок из монтажей художественных репродукций, фотографий и рисунков на литературные темы».

Понятно, что, ознакомившись с подобным перечнем претензий и обязательных к выполнению задач, Булат в очередной раз осознал, что всем этим чиновникам, партийной номенклатуре, бюрократам от педагогики абсолютно безразличны дети, главное, чтобы правильно были заполнены все отчеты, подписаны все бумаги и соблюдены все циркуляры Министерства просвещения. Если бы «преподаватели отразили на полях борьбу за хорошую каллиграфию», если бы прошли «выставки из монтажей художественных репродукций», о которых следовало отчитаться подобающим образом, а если бы еще и приняли участие в несении портретов членов Политбюро ЦК ВКП (б), то никаких претензий к учителям бы не было.

Да, это была система, и проламывать ее Булат не собирался, прекрасно понимая, что его усилия не только совершенно бесполезны, но и небезопасны.

Очередным витком конфронтации с этой самой системой стал *самовольный отъезд* (по версии директора М.И. Кочергина) учителей (Окуджавы в том числе) в Москву в конце первого полугодия, а именно в конце декабря 1951 года.

Из приказа заведующей районным отделом народного образования тов. Свириной: «В связи с самовольным оставлением работы с 29 декабря 1951 г. по 10 января 1952 г. включительно и допущенным прогулом 10 дней учителем Высокиничской средней школы Окуджава Б.Ш., приказываю: Учителя Окуджаву Б.Ш. вплоть до особого распоряжения Калужского ОблОНО до работы не допускать и до 12/1 передать дело на него в народный суд для привлечения к судебной ответственности. Зав РОНО Свирина».

Эта бумага вызвала взрыв возмущения среди молодых Высокиничских учителей, друзей Булата. Галина Прошлякова и Майя Суховицкая написали письмо в «Комсомольскую правду», в котором изложили суть дела — Окуджава имел устную договоренность с Кочергиным (на отъезд в Москву), от которой директор потом открестился. И ответ последовал незамедлительно — из столицы прибыла министерская комиссия.

По результатам непродолжительного, следует заметить, разбирательства приказ объявили недействительным, а тов.

Свирина и Кочергин были сняты с занимаемых должностей.

История повторилась, Булат должен был торжествовать, противник оказался вновь повержен, но и этот этап был для него уже пройденным, ничего доказывать работникам народного просвещения он не собирался. Ему было это просто не интересно, и не тем он был человеком, чтобы самоутверждаться за чей-либо (в данном случае — не совсем умных и недостаточно хорошо образованных людей) счет.

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «Кстати, я тоже положил себе за правило не спорить с людьми. С умным спорить нечего, ибо он, обуреваемый сомнениями, не позволит себе не уважать вашей слепоты. А уж с глупцом или с невеждой и подавно: они всегда столь самоуверенны, что вы для них ноль. Спорить с ними — напрасная затея...»

Довольно часто бывая в Калуге по сфабрикованному Кочергиным против него «делу», Окуджава познакомился с педагогами школы № 5 на улице Дзержинского, которые и предложили ему место учителя литературы (скончалась старая преподавательница, и Булат появился в Калуге как нельзя более кстати).

Итак, в середине февраля он вышел на новое место работы.

Галина же осталась дорабатывать учебный год в Высокиничах.

Из воспоминаний учеников и коллег Окуджавы в Калуге:

Леонид Чирков: «Булат Окуджава вел у нас литературу, когда я учился в 8-м классе... Мы как раз проходили Пушкина, «Евгения Онегина»... Уроки литературы стояли в расписании последними и со звонком не заканчивались. Очень часто мы оставались, и он читал нам произведения многих писателей, которых мы тогда в силу разных причин просто не могли знать».

Ида Копылова: «Окуджава был друг и учитель... Мы пришли в школу почти одновременно целым коллективом, поэтому необыкновенно дружили. Знаете, как я его называла? Булочка. И при встрече в последние годы он только и слышал от меня, что он Булочка».

Очевидно, что в пятой школе Булат наконец почувствовал вкус к преподаванию как к своего рода творчеству, причем творчеству, свободному от убивающих все живое идеологических и бюрократических наслоений.

О даре импровизации словесника Окуджавы говорили все, кто соприкасался с ним по работе в ту пору. Например, беседы о Пушкине или Лермонтове запросто могли перерасти в

обсуждение «Слова о полку Игореве», отрывки из которого питомцы Булата учили с воодушевлением и энтузиазмом, а анализ «Записок охотника» Тургенева неожиданно получал продолжение в разборе популярного в ту пору романа Ивана Ефремова «На краю Ойкумены».

Бывали, опять же, случаи, когда Окуджава читал свои стихи, и они подвергались коллективной критике, пусть и простодушной, наивной, порой даже примитивной, но искренней и беззлобной, потому что ученики любили своего учителя.

Однако в текстах о Калужском эпизоде своей жизни, написанных Булатом Шалвовичем годы спустя, пробиваются интонации человека страдающего, обиженного и загнанного «свинцовой мерзостью» жизни в тупик, когда больше не осталось сил для убеждения самого себя в том, что все хорошо.

Читаем у Окуджавы: «Я снимал угол в домике на окраине. Стояла гнилая осень. Ученикам я не нравился, и они отравляли мое существование. Друзей еще не было. Жить не хотелось. И вот однажды подошел ко мне в учительской преподаватель физкультуры Петя и сказал:

— Я гляжу, ты все один да один. Может, вечером под шары сходим? Ну, ресторанчик такой, под шарами...

И мы отправились... Нам, не спрашивая, подали по граненому стакану с водкой, по кружке пива и по порции котлет с лапшой. Выпили — разговорились. Помню, было хорошо, легко, сердечно. Вывалились оттуда в полночь, обнялись и зашагали по пустым улицам... что-то такое пели громко, хором. Расставаться не хотелось... И так продолжалось несколько месяцев, пока не произошло необъяснимое чудо. И я вернулся к себе самому».

31 августа 1953 года Окуджава по собственному желанию уволился из пятой Калужской школы на улице Дзержинского и перешел на работу в газету «Молодой ленинец», сделав таким образом еще один шаг навстречу собственной поэзии.

*Поэзия в столовке заводской,
где щи кипят, где зреют макароны,
где ежедневно, как прибой морской,
ты переходишь в бой из обороны.*

Через три года Булат уедет в Москву, чтобы забыть о своей педагогической деятельности навсегда.

Глава 2

В один из солнечных мартовских дней 1937 года во двор дома № 43 на Арбате вошел блатной по прозвищу Холера. Никто не знал толком, как его зовут, одни говорили, что Степаном, другие — что Василием, а третьи утверждали, что это не кто иной, как Леонид Иванович Пантёлкин, чудом избежавший расстрела еще в двадцать третьем году. О нем многие слышали, и его боялись не только на Арбате, но и на Плющихе, в Дорогомилове и даже на Потылихе.

Расслабленной походкой Холера миновал оторопевшую при виде него дворовую ребятню, даже кого-то походя похлопал по плечу, после чего вальяжно расположился на скамейке, широким жестом достал из кармана пальто папиросы «Кино» и закурил.

Было видно, что он находится в благодушном настроении, и потому первый шок от появления «великого и ужасного» прошел сам собой довольно быстро, хаотическое движение по двору возобновилось.

Сделав несколько затяжек и выпустив дым из ноздрей, Холера уравновесил козырек кепки указательным пальцем без ногтя и, обращаясь куда-то поверх голов, произнес:

— Ну что, кто с мной в пристенок?

И сразу наступила гробовая тишина, словно заговорили стены двора-колодца, словно разверзлись уста у глухонемого дворника Алима Файзуллина. Но нет, никто не ослышался, сам Холера предлагал *сыгрануть* с ним в пристенок.

— Повторяю еще раз: кто со мной в пристенок будет? — голос его повысился, но при этом не утратил своего абсолютно необъяснимого и даже какого-то отеческого радушия.

— Я буду! — шаг вперед сделал астенического сложения мальчик с большими темными, не улыбочивыми, словно бы остановившимися глазами.

— Ну и как тебя как зовут?

— Булатом.

— Грузин что ли?

— Да, — мальчик остановится ровно перед Холерой и уставился на него, не отводя глаз.

— Деньги-то есть у тебя, Булат? — Холера сделал ещё пару затяжек, закусил желтыми кривыми зубами папиросу, задвигал острыми потрескавшимися губами, затем неспешно встал со скамейки и в развалку подошел к кирпичной стене дома. Толпа почтительно расступилась перед ним.

— Есть деньги.

— Вот и хорошо, — сказал и протянул руку. Булат протянул руку в ответ.

Так всегда делали перед началом игры — прикладывали ладони и выбирали одинаковое расстояние между пальцами, чтобы все было по-честному и тот, у кого ладонь больше, не имел бы преимущества перед своим противником во время измерения расстояния между упавшими монетами.

— Не боишься? — Холера повертел своей огромной, как лоток совковой лопаты, ладонью перед лицом Булата.

— Не боюсь.

— Смелый шкет, — усмехнулся блатной, — я первый кидаю.

*Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
Где пары танцевали, пыля,
Все ребята уважали очень Леньку Королева
И присвоили ему званье Короля.*

*Был Король — как король, всемогущ, и если другу
Станет худо, иль вообще не повезет,
Он протянет ему свою царственную руку,
Свою верную руку и спасет.*

На самом же деле в тот солнечный мартовский день все было не так.

Первый кон взял Окуджава.

Потом кинул неудачно и проиграл.

Поблбднел, почувствовал, как ярость и отчаяние одновременно приливают к голове, а Холера меж тем просто гонял папиросу из одного угла рта в другой, пританцовывал и напевал что-то типа:

*Торчит Ширмач на Беломорканале,
Таскает тачку, двигает кайлой,
А ффраера втройне богаче стали.
Кому же взяться опытной рукой?*

И показывал всем дворовым эту самую «опытную руку».

А потом Булату вдруг повезло. Он взял кон, за ним еще, а потом еще. По толпе прокатился ропот изумления и недоумения — возможно ли такое, чтобы у самого Холеры выигрывать?

Улыбочка тут же и сошла с лица блатного.

— Ты что ж творишь-то, малец? — сплюнул папиросу, приноровился и кинул опять не лучшим образом, — а ну, дай ка я

замерю.

Распластал свою огромную ладонь на полдвора и сгреб деньги.

— Так нечестно, — только и сумел проговорить, давась от подступивших к горлу слез, Окуджава.

Двор одобрительно загудел в ответ.

— А ну ка, *ша*, черти! — добродушная наглость вновь вернулась к Холере, разве что с примесью какого-то хмельного идиотизма. Вихляющей походкой он подошел к Булату, размахнулся и со всей силы ударил его по лицу. Тринадцатилетний мальчик упал на землю, и из носа пошла кровь.

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «И вот в конце Арбата подлая природа надоумила меня завернуть в ближайший двор в поисках укромного уголка. Растреклятый дурень, оставив коня на улице у самых ворот, углубился во двор, там дом с заколоченными ставнями, справа каретный сарай с антресолю и распахнутой дверью, я это запомнил, свернул за сарай, и тут... из-за угла с диким криком кинулся мне навстречу пьяный мужик с красными глазами, замахнулся и ударил ржавой острогой... Когда я очнулся, никого рядом не было. Крови натекло с полведра, ей-богу».

— Вопросы?! — истошно заблажил блатной, после чего икнул и прищурился, — нет вопросов у бродяг!

Потом он отобрал у Окуджавы все выигранные им деньги, торжественно закурил, сплюнул и неспешно вышел со двора.

Сюда, на Арбат, в дом № 43, в коммунальную квартиру № 12 на четвертом этаже (бывшая квартира фабриканта Коневского), их с братом привезла мать, Ашхен Степановна, когда в Нижнем Тагиле арестовали отца.

Просто ехать было больше некуда, и тут, в Москве, началась совсем другая жизнь, отличная от той, которую вела семья первого секретаря Нижнетагильского горкома ВКП(б) в бывшем особняке купца Малинина на улице Восьмого марта, 49.

Еще там, в Нижнем Тагиле, Булат слышал от отца, как жили рабочие на строительстве комбината — в бараках, в коммуналках, в землянках. Слышал, но не отдавал себе отчета в том, что это было на самом деле — что это не просто биение воздуха, не просто слова о том, что происходило где-то далеко, в другой и чужой жизни, которая ему была безразлична.

Отец, играя желваками, рассказывал Ашхен Степановне:

— Я ходил по баракам и задыхался от невыносимого смрада. Всякий раз вздрагивал, попадая в это адское жильё, словно

погружался в развороченные внутренности гниющей рыбы, не понимал, как можно так жить. Эти люди, теперь зависимые от меня, жили семьями, без перегородок, здоровые и больные, вместе с детьми. Деревянные топчаны были завалены ворохами тряпок, а на большой кирпичной плите в центре барака в многочисленных горшках и кастрюлях варилась зловонная пища!

Мать успокаивала отца, просила не быть таким эмоциональным, говорила, что это необходимость, что это временные трудности, что именно ради светлого будущего этих людей партия вынуждена сейчас идти на крайние меры.

Конечно, коммуналка на Арбате — это была совсем другая история, но рассказ Шалвы Степановича вдруг ожил, перешел из разряда эмоционального пустословия (по мысли сына) в разряд яви, реальности, с которой надо смириться и в которой надо жить.

Восемь соседей.

Одна уборная и один рукомойник на всех.

Ютятся везде — не только в перенаселенных комнатах, но и в подсобках и чуланах.

Пьяные скандалы и футбол в коридоре каждый Божий день.

Постоянный и невыносимый запах готовки с кухни.

Вонь грязного, не стираного годами белья.

Кто-то вечно болеет и кашляет.

Неизвестные люди, за которыми по ночам приходит милиция.

Грохот захлопывающихся дверей.

Драки.

Включенная с утра до ночи радиоточка.

Общественные душевые в Староконюшенном переулке.

*В арбатском подъезде мне видятся дивные сцены
из давнего детства, которого мне не вернуть:
то Ленька Гаврилов ухватит ахнарик бесценный,
мусолит, мусолит, и мне оставляет курнуть!*

Впоследствии в одном из интервью Булат Шалвович скажет: «В нем (в Арбатском дворе) столько было всякой мерзости — жулики, уголовники, проститутки. Грязь, матерщина... Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Учился я плохо. Курить начал, пить, девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался с темными ребятами. Как помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, челочка и фикса золотая. Потом, в конце 40-го года, тетка решила

меня отсюда взять. Потому что я совсем отбился от рук, учиться не хотел, работать не хотел».

Из школы, расположенной в Кривоарбатском переулке, домой пробирались через проходные дворы, где, бывало, и «застревали» до позднего вечера, а по выходным и на праздники ездили в Сокольники «прошвырнуться».

По воспоминаниям одноклассника Булата Павла Соболева, «ездили мы вместе в Сокольники с ружьишком... наберем лампочек перегорелых от радиоприемников и стреляем по ним».

Стало быть, постреливали.

Домой возвращался поздно, когда все спали. Брат точно спал и бабушка тоже, впрочем, могла делать вид, что спит.

Мать была на работе.

Старался незаметно пробраться за свой шкаф, которым была разгорожена комната, и, не раздеваясь, без сил падал на кровать.

Булату снился один и тот же сон.

Он идет по лесу вместе с Дергачевым.

Этот лес начинается недалеко от их дома, где он жил с родителями и младшим братом в Нижнем Тагиле.

Какое-то время они идут в полном молчании, и только треск сухих веток под ногами стоит в ушах. Наконец, выбравшись на поляну, останавливаются, смотрят по сторонам, никого нет. И тогда Булат достает из кармана браунинг. Дергачев замирает в полном восхищении, такого он еще не видел никогда. Это настоящий наградной пистолет Шалвы Степановича, который он несколько лет назад получил за особые заслуги перед ВКП(б).

Мальчики передают браунинг друг другу, прицеливаются, делают вид, что стреляют.

— Вот бы по-настоящему стрéльнуть, — мечтательно произносит Дергачев.

— Иди к тому дереву, — Окуджава решительно берет пистолет и снимает его с предохранителя, — смотри, как я сейчас в него попаду.

Дергачев бросается вперед, а Булат начинает поднимать оружие, стараясь уследить за гуляющей мушкой, в поле зрения которой попадает то дерево, то спина бегущего Дергачева, то снова дерево...

Все плывет перед глазами.

Нажимает на спусковой крючок и сразу же просыпается.

Вскакивает на кровати.

Идет в конец коридора к рукомойнику, долго моет лицо и сто раз повторяет себе одно и то же: ведь в том, что произошло тогда в лесу, он не виноват, просто они играли, дурачились, он не специально, он никак не ожидал, что попадет в Дергачева, и ведь

не убил же его в конце концов, только ранил, пуля прошла навывлет, а потом, когда встретил Дергачева на улице, то бросился к нему, чтобы извиниться, но Дергачев ударил его по лицу.

Как Холера — со всей силы, и из носа пошла кровь.

Потом вернулся в комнату.

— Булатик, почему ты не спишь? — глухо донеслось из противоположного угла комнаты.

— Не спится, бабушка.

— Спи, голубчик, спи, утро вечера мудренее.

И от этих слов почему-то стало еще хуже.

Из воспоминаний Булата Шалвовича: «Во дворе становилось легче. Тут бушевали иные страсти, их грохот сотрясал землю, но это был возвышенный грохот, а не томительное, почти безнадежное домашнее увядание. Шла гражданская война в Испании, все было пронизано сведениями о ней, в мыслях о ней растворялись изможденные лица мамы и бабуси, их глухие голоса».

В шестом классе Булат перешел в школу в Дурновском переулке (ныне ул. Композиторов), но друзья остались те же, другое дело, что домой теперь шел не со стороны Сивцева Вражка, а со стороны Собачьей площадки, пересекал переулок Каменная слобода и выходил к церкви Спаса на песках, от которой уже был виден его дом.

А бабушка тем временем стояла у окна и следила за тем, как ее внук бредет вдоль церковной ограды, как пинает ногой снежную глыбу или кучу осенних листьев, наконец, как выходит на Арбат, останавливается тут, дожидаясь, когда можно будет перебежать дорогу, перебегает ее и исчезает в подворотне.

Дома и во дворе были два разных человека, два разных Булата.

Читаем в «Упраздненном театре»: «Он торопился домой, но бабусины причитания были невыносимы, а душа рвалась во двор, где домашние несчастья тускнели и никли... Когда же он со двора уходил домой и дверь лифта захлопывалась, он преображался и из лифта выходил почти совсем взрослым человеком, обремененным свалившимися на семью заботами. К счастью, форма, в которую были заключены его душа и тело, оказалась податливой, почти каучуковой, и она, хоть и болезненно, но приспособилась все-таки, приноровилась, притерлась к новым обстоятельствам. Время летело быстро. Уже начало казаться, что счастья никогда и не было и было всегда это серое, тревожное, болезненное ожидание перемен. Где-то здесь, за ближайшим поворотом».

Булат выходил из подворотни, заворачивал в подъезд и

нажимал кнопку лифта.

И тут же в недрах дома оживал электрический мотор, сопровождаемый однообразным гулом лебедки, что выпускала в шахту раздвоенный, как змеиный язык, густо смазанный тавотом металлический трос.

Откуда пришла эта раздвоенность?

Ведь родители были людьми прямолинейными, принципиальными и нестигаемыми, за что и поплатились в конце концов. Или все было не совсем так, как декларировалось, и подверглись репрессиям они по какой-то иной причине?

Лифт останавливался на первом этаже.

Булат входил в кабину, захлопывал металлическую дверь и нажимал кнопку с цифрой «четыре».

Итак, обо всем по порядку.

В августе 1934 года семья Шалвы Степановича Окуджавы, на тот момент комиссара дивизии, члена ЦК Грузии, секретаря парткома Уралвагонстроя, приезжает в Нижний Тагил.

Столь высокого назначенца разместили в трехкомнатной квартире в только что построенном двухэтажном доме со всеми приходящими — дворник, прислуга. Через год, когда Шалико (так домашние звали Шалву Степановича) получил должность первого секретаря Нижнетагильского горкома партии, его семья переехала в бывший особняк купца Малинина на улице Восьмого марта. В школе умный, общительный, красивый Булат Окуджава сразу стал негласным лидером, или, как это было принято говорить в то время, «заводилой». Ни одно коллективное мероприятие не проходило без него, всегда и везде он был первым.

Из воспоминаний Иосифа Бака, одноклассника Б.Ш. Окуджавы: «Булат был очень красивым мальчиком. Большие карие глаза, обрамленные ровными, словно подбритыми бровями, густые, кудрявые волосы, маленький правильный нос на бледноматомом лице. Все девочки класса сразу влюбились в него... Учился Булат хорошо, но не был отличником. Обладая хорошей памятью, он все схватывал на уроках, а вместо выполнения домашних заданий много читал... Он сразу стал, что называется, лидером в классе, сгруппировал вокруг себя 8–10 мальчиков и верховодил ими. С ним было интересно. Он постоянно что-то придумывал и заражал этим всю компанию».

Также он любил приглашать одноклассников к себе в гости, чтобы показать им, как живет. Для многих эти визиты, что и понятно, становились шоком, ведь подавляющее большинство юных нижнетагильцев обитали в деревянных бараках в коммуналках (о впечатлениях Шалвы Степановича от посещения этих тупцов мы уже писали выше).

Конечно, по вечерам за ужином (после ухода гостей) Булат недоумевал, почему они живут, «как буржуи», почему у них есть все, а у его друзей нет ничего (надо думать, что этот вопрос нередко звучал и среди его одноклассников). Однако отец и мать с улыбкой объясняли сыну, что они выполняют очень ответственную работу, что партия доверила им руководить гигантским производством, тысячами людей, и поэтому они должны хорошо питаться и отдыхать, ведь на них лежит громадная ответственность. Но если партия вдруг прикажет им стать рядовыми сотрудниками Уралвагонстроя, то они как настоящие большевики станут ими и будут работать вместе со всеми в цеху, перевыполняя план, однако сейчас они руководители, и потому сравнивать их с обычными рабочими бессмысленно.

А потом отец гладил сына по голове и говорил:

— Отбой, завтра рано вставать.

Булат шел к себе в комнату.

Конечно, ни Шалва Степанович, ни Ашхен Степановна никогда не говорили своему сыну, что занимают столь высокие посты, потому что они умней и образованней других, но в голове десятилетнего мальчика интуитивно складывалось понимание того, что он и его семья — это люди другого сорта, что они и есть «высший класс» страны Советов и поэтому им многое дано и многое позволено.

Осознание этого приходило постепенно, хотя отец, разумеется, довольно часто наставлял сына не возноситься, не кичиться перед друзьями тем, что у него есть, а у них нет, но сам образ жизни семьи Окуджава говорил об обратном, и юному Булату было просто не под силу переварить это раздвоение, когда между партийным руководством страны и рядовым населением этой же страны зияла неизбывная пропасть. Он просто был вынужден принять те условия, в которых жил, за абсолютно справедливые и единственно верные, а нищету и дикость «низшего класса» относил на счет пережитков прошлого, с которым решительно борются его родители.

Итак, навык быть разным — перед одноклассниками одним, а перед родителями и людьми их круга другим, — формировался как закономерный результат объективных законов выживания. Вполне возможно, что Булату претил упертый максимализм его родителей, но и опроститься до уровня уличных друзей он тоже не мог.

Хотя к последним его тянуло просто потому, что он был мальчишкой.

Однажды после уроков к Булату неожиданно подошел

долговязый, с вечно чумазым лицом, второгодник по фамилии Дергачев. Говорили, что к тому моменту он уже бросил школу и работал на заводе.

— Хочешь, покажу, как поджигной стреляет?

Булат задохнулся от счастья:

— Конечно!

— Ну, пошли тогда...

Через дырку в заборе выбрались на зады школы, потом миновали рабпоселок и вошли в лес.

— Далеко еще?

— Нет, рядом уже, сейчас к грачам выйдем, — подмигнул Дергачев.

— К каким грачам?

— Увидишь.

Прошли перелесок, миновали овраг с остатками каких-то деревянных построек и ржавой брошенной техникой и вышли на поляну, на краю которой высилась огромная суковатая береза, густо, как комками сажи, залепленная грачиными гнездами.

Дергачев остановился и достал из кармана поджигной — к вырезанной из дерева пистолетной рукоятке проволокой была примотана короткая металлическая трубка, сплюснутая с одного конца.

Присел на валежину и начал неспешно заряжать самопал-пугач.

— Далеко бьет? — поинтересовался Булат.

— До березы как раз и бьет, — улыбнулся Дергачев, прикрепил к затравочному отверстию поджигного несколько спичек и подпалил их.

Раздался громкий хлопок, за которым последовал плевков густого вонючего дыма.

— Есть! — Дергачев запихнул поджигной за пояс и побежал к дереву. Булат кинулся за ним.

На земле, среди корней, бился подстреленный грач.

— Зачем ты его?

— Как зачем? — недоуменного гаркнул Дергачев. — Сейчас есть его будем...

Дома Булат, конечно, ничего не рассказал родителям, только сообщил, что ужинать не будет, потому что ему нездоровится.

Пошел к себе в комнату, лег на кровать, отвернулся к стене и закрыл глаза. Больше всего сожалел о том, что зачем-то рассказал Дергачеву о том, что у его отца есть наградной пистолет, что он его возьмет тайком и они обязательно постреляют в лесу.

И ты берешь пугач (к нему привык),

*к виску подносишь — он к виску приник,
смеешься ты: ведь он не убивает...
Но в принципе все точно так бывает:*

*его — к виску, а он к виску приник,
вся жизнь прошла за этот краткий миг,
все вспомнилось, что не было и было...
И темечко как бы к дождю заныло.*

*Затем обратно в стол его швырни:
он пригодится на другие дни.
Тебя холодный этот душ охватит —
на день-другой, глядишь, его и хватит.*

*Купи пугач, купи! Тебе не в труд.
Он безопасен. С ним не заберут.
Побалагуришь — и пройдет тоска...
...Все пугачи мы держим у виска!*

Лифт остановился на четвертом этаже.

Дверь в квартиру открыла бабушка.

Взгляд ее, как всегда, выражал разочарование и сожаление одновременно. Разочарование от того, что внук совсем отбился от рук, а сожаление — о том, что бедный мальчик растет без отца, которого арестовали и, скорее всего, Шалико уже нет в живых (о том, что Шалва Степанович Окуджава был расстрелян в Свердловской городской тюрьме, стало известно лишь в 1954 году).

От этого взгляда Булату становилось невыносимо тоскливо. Ему еще острее начинало казаться, «что счастья никогда не было и было всегда это серое, тревожное, болезненное ожидание перемен».

Понурился, он проходил через заставленный шкафами, ящиками и ломаной мебелью коридор, садился к столу, начинал хлебать приготовленное варево, обжигался при этом, а потом шел к себе за шкаф делать уроки, но не делал их, конечно. Дождавшись, когда бабушка уснет или выйдет на кухню, он незаметно сбегал из дому.

Учился Булат плохо.

Нравилась ему только уроки литературы, потому что на этих уроках можно было вспоминать о том, как все было раньше, или мечтать о том, как все могло бы быть по-другому, что одно и то же по сути.

В марте 1939 года по обвинению в контрреволюционной деятельности арестовали мать, Ашхен Степановну Налбандян, и отправили в лагерь Батык Карагандинской системы ГУЛАГа НКВД.

Из книги Б.Ш. Окуджавы «Упраздненный театр»: «Он, сын врага народа, проводил школьные часы, как в тумане, испытывая чувство вины перед остальными счастливчиками. Однако постепенно выяснилось, что судьбы многих схожи с его судьбой».

Сначала Булат был уверен в том, что столь печальная участь постигла и постигает лишь тех, кто, как говорили его родители, по приказу партии выполняли самую ответственную, самую важную работу, но со временем стало ясно, что это не так — репрессиям подвергались простые рабочие и рядовые РККА, почтальоны и учителя, машинисты паровозов и колхозники, студенты и водители грузовиков. Их судили по тем же статьям, что и наркомов, первых секретарей и легендарных комдивов, и расстреливали точно так же.

Осознание этого вызывало какую-то странную, необъяснимую тоску, смятение от общей бессмысленности, даже затаенную обиду, но пятнадцатилетний Булат не мог разобраться в этих своих чувствах, не мог понять, на кого и за что он обижен, почему тоскует и мечется его душа.

А спросить-то было и не у кого...

Спустя годы, куря ночью на крыльце учительского общежития в Шамордино, Окуджава будет вспоминать свое детство в Нижнем Тагиле и Москве, будет сопоставлять разрозненные, на первый взгляд, эпизоды в надежде сложить из них картину объемную и, как сказал бы Достоевский, выпуклую.

Булат присутствует на траурном митинге по убитому Сергею Мироновичу Кирову. Запомнилось, что тогда из ртов у всех валит пар, было холодно, однако отец выступал на трибуне без шапки, он кричал, почти плакал, но никто не слушал его.

После уроков в подворотне между Калошиным и Кривоарбатским переулками Булат дерется со второгодником по прозвищу Штырь, который его в результате кладет на лопатки. Булат сопит, пытается вывернуться из железных объятий Штыря, но не может этого сделать и полностью ощущает свое бессилие.

Булат стреляет из отцовского браунинга, потом бросает его и, не разбирая дороги, бежит домой в слезах. Здесь он ложится на кровать и долго не может объяснить родителям, что произошло.

Вместе с теткой и двоюродной сестрой отдыхает

в Евпатории. Булат стоит на берегу моря. Он не любит плавать, потому что, оказавшись в воде, чувствует себя беспомощным и уязвимым.

Смотрит, как Дергачев потрошит дохлого грача, убитого из поджигного, и ему становится дурно.

Булат показывает одноклассникам дом, в котором он живет вместе с родителями, — столовая, гостиная, кабинет отца, гардеробная, его комната с окнами в сад. Гордость за свою семью и самоуверенность смешались в ту минуту в какое-то одно, трудно определяемое чувство, которое потом еще долго будет преследовать Булата.

Отец рассказывает о том, что завод перевыполняет план по производству вагонов, а рабочие активно включаются в стахановское движение. Аишен Степановна внимательно слушает мужа, но потом неожиданно говорит, что эти успехи ни в коей мере не отменяют усиления борьбы за дисциплину на производстве, потому что без дисциплины начнутся разброд и шатание, безобразия и воровство. Шалико соглашается. Со словом «дисциплина» у Булата, впрочем, связаны лишь строгий пронизательный взгляд отца и короткая, как выстрел, фраза матери — «Ты наказан».

Бабушка кормит его горячим варевом. Булат хлебает разваренную картошку, обжигается, слышит плач брата, который болеет на своей раскладушке, у него высокая температура. Потом брат засыпает, а Булат пробирается за шкаф, где на козлах, поверх которых положен старый промятый блин тюфяка, устроена его лежанка.

Просыпается посреди ночи от стука в дверь, это пришли арестовывать мать. Они включают свет, гремят сапогами по полу, двигают стулья, смотрят на мальчиков и бабушку безо всякого сожаления. Не говоря ни единого слова, мать собирает вещи и уходит.

Из открытой двери дует.

Булат вместе с одноклассниками сидит на берегу реки Тагил и смотрит, как мимо проплывают льдины, на которых пылают снопы соломы, неизвестно откуда там взявшиеся. Сполохи отражаются в воде, и детям кажется, что горит вода.

Да, это разрозненные эпизоды, из которых складывается

причудливый орнамент, и при том, что в нем нет ни одного повторяющегося фрагмента, полностью нарушена хронология и совершенно не сохранена сюжетная линия, возникает дыхание медленно уходящего времени, вернуть которое невозможно.

Слом, произошедший в жизни юного Булата после ареста отца и выселения семьи из Нижнего Тагила, после возвращения в Москву на Арбат, где он родился в 1924 году у Грауэрамана, после болезненного перехода из одного социального эшелона в другой в том возрасте, когда ничего не забывается, не прощается и хранится в памяти вечно, вне всякого сомнения, не только стал определяющим при складывании его характера, но и во многом сформировал Окуджаву — поэта и прозаика.

Эмоциональность, чувствительность были навсегда придавлены детским подсознательным страхом того, что, оказавшись в центре внимания (как отец или мать), впереди ли колонны, на трибуне ли, всегда рискуешь получить удар в спину (может быть, отсюда идет любовь Булата Шалвовича к благородному и куртуазному XIX веку, где, вероятно, все было совсем по-другому). Отсюда же происходит и затаенность в ощущении собственного превосходства если не над окружающими тебя людьми, то над обстоятельствами — точно. Детские воспоминания как бы вступают в противоречие с повседневным течением жизни, с Большим террором, с войной, и выход из этого противоречия видится очень замысловатым, путаным, порой не имеющим к объективной реальности никакого отношения.

Уже в 1980 году Булат Шалвович напишет такие строки:

*Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю
и самого себя люблю за это...*

На тот момент с описываемых нами событий прошло более сорока лет. Достаточно времени, чтобы окончательно сложить своеобразный пазл даже не собственного портрета, а психотипа ровесников, тех, кто родился в двадцатых, кто прошел войну, тех, чьи родители были репрессированы в тридцатых-пятидесятых годах.

Любовь к «заветному Кремлю» и к самому себе — это два разных, абсолютно противоположных чувства, которым никогда не сойтись, но с этой пропастью внутри самого себя надо как-то жить. Задача не из простых, и далеко не всем с ней удалось

справиться.

Глава 3

В 1953 году умер Сталин.

Слухи о страшной давке на похоронах вождя докатились до Калуги.

В 1954 году родился сын — Игорь Булатович Окуджава.

Почти сразу Галина увезла новорожденного в Тбилиси, где жила ее сестра Ирина.

В этом же году освободилась из заключения и вернулась в Москву Ашхен Степановна Налбандян.

Сын стал бывать у матери в ее квартире на Краснопресненской набережной дом 1/2 ежемесячно.

В 1955 году Окуджава подал заявление о вступлении в ряды КПСС и в начале 1956 года был принят в коммунистическую партию.

Тогда же он написал очень искреннее стихотворение «Ленин»:

*Всё, что создано нами прекрасного,
создано с Лениным,
всё, что пройдено было великого,
пройдено с ним...*

*Он приходит, простой и любимый,
сквозь все поколения,
начиная свой путь
из далекой симбирской весны.*

В 1956 году в Москве состоялся XX съезд партии, на котором с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях» выступил первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев.

В этом же году у Булата в калужском издательстве газеты «Знамя» вышел первый сборник стихов «Лирика» тиражом 3 тысячи экземпляров.

Это произошло ровно через одиннадцать лет после его первой публикации в гарнизонной газете Закавказского фронта «Боец РККА» под псевдонимом А. Должанов.

И вот теперь сын ехал к маме в Москву, чтобы подарить ей свою книгу.

*Далекий путь. Вагоны за вагоном
к моей Москве настойчиво бегут,
их то обнимет лес огнем зеленым,*

то степи под колеса упадут.

В Наро-Фоминске в вагон вошел старик и сел на скамейку напротив.

Сначала он долго молчал, уставившись в окно, за которым мимо проносились полустанки, бесконечной длины заборы, перелески и снова полустанки, а затем неожиданно повернулся к Окуджаве и проговорил:

— Вы, я вижу, человек интеллигентный, похожи на учителя.

— Да, я работал в школе, — Булат улыбнулся.

— Что преподавали, позволяете полюбопытствовать?

— Русский и литературу...

— Гуманитарий, стало быть, а я физику и математику... вот уже сорок ле-ет... — последнее слово старик произнес с растяжкой, насколько ему позволило дыхание, и покачал головой, — хорошо знал Константина Эдуардовича еще по Боровску.

Окуджава с любопытством посмотрел на своего неожиданного собеседника:

— И каким же он был, теперь позволяете мне полюбопытствовать?

— Вы знаете, — старик принялся тереть лоб и покашливать, — очень хорошо запомнил его худое бледное лицо, высокий женский голос и то, как он зимой катался по Протве на коньках вместе с детьми.

— На коньках по Протве?

— Да-да, поверите ли! Кутался в шарф, закладывал руки за спину, делал строгое, вернее, сосредоточенное лицо, веял бородой и имел при этом вид совершенно одухотворенный.

Булат тут же вообразил себе этого человека, о котором в Боровске, а потом и в Калуге, говорили разное:

*Учитель свихнувшийся
выточил крылья,
решил до Луны
прямоком добираться,*

*Не часто столкнешься
с такими вещами,
Опасная выдумка,
Бред, не иначе...*

— А ведь вы, наверное, как всякий гуманитарий, пописываете, — не унимался попутчик, — уж простите мне мою стариковскую прямоthu.

— Да что уж там, — Окуджава пожал плечами, — вы правы, пишу стихи.

— Стихи! — старик привскочил на скамейке, — всегда восхищался поэтами! Маяковский, Багрицкий, ну и Александр Сергеевич, разумеется!

В совершенной ажитации он вернулся на скамейку, сложил руки на коленях, явив тем самым стремление успокоить себя, но подбородок и брови его вздрагивали, выдавая крайнее возбуждение:

— Уж не сочтите за дерзость — а о чем вы пишете?

Булат замер, показалось, что этот вопрос застал его врасплох. Конечно, он мог здесь и сейчас, как отличник на уроке литературы, начать перечислять: о дружбе, о любви, о родине, но все это было бы до такой степени невыносимо плоско и банально, что отвечать так на вопрос человека, знавшего Циолковского, не было никакого желания. Впрочем, если бы даже он и не знал Константина Эдуардовича, то все равно ни за что не смог бы вальяжно начать рассуждение о собственном творчестве, гордо при этом именуя себя поэтом.

— Да о разном... — проговорил едва слышно и в ту же минуту остро почувствовал, что не может не признаться себе в том, что, втайне от всех, конечно, размышлял о своем литературном предназначении, даровании ли, о своем поэтическом пути, о том, на кого из великих он хотел бы походить, но вот чтобы так, в лицо ответить, да еще и постороннему человеку...

— Не скромничайте, прошу вас! — почти закричал на весь вагон старик, приняв при этом позу трагической безнадежности — откинулся на спинку скамейки, закрыл глаза, сложи руки на груди.

«Он не чужд театральности», — подумалось Булату.

— Вот, — неожиданно для себя проговорил Окуджава и извлек из кармана пальто сборник «Лирика», который он вез в Москву, чтобы подарить матери, — книга моих стихов.

— Позвольте?

— Конечно, тут напечатана моя поэма «Весна в октябре» о Циолковском.

*Российской империи?
И есть ли смысл
пробираться к Луне?*

*Она не так далека,
и теперь ее
можно в трубу
разглядеть вполне.*

*Довольно исследований и поисков!
Во всех этих выдумках
кроется двойственность.*

Булат пристально наблюдал за выражением лица старика. Читая, он то хмурился, то улыбался, то принимал вид совершенно равнодушный, даже надменный, шевеля при этом губами и бормоча себе что-то под нос.

Проехали Апрелевку.

После увольнения из школы Окуджава перешел работать в Калужскую газету «Молодой ленинец» на должность корреспондента. Так как журналистом он себя никогда не считал, то относился к работе со сдержанным терпением, более же посвящая себя руководству местным литобъединением, что по тем временам было затеей повсеместной. Молодые рабочие и учителя, студенты и врачи, военнослужащие и школьники писали стихи, и необходимость упорядочить этот стихийный процесс назрела сама собой.

Владимир Британишский, поэт, литературный критик, переводчик, так писал о том времени: «Студенческое поэтическое движение 1954–1956 годов... рождалось как составная часть студенческого движения в полном смысле слова... Молодые студенты нашего поколения совсем не обязательно были политическими поэтами. Но факт существования массового поэтического движения в студенческой среде был в тот момент фактом политическим. Так его осознавали и власти, и вскоре поэтическое движение и молодая поэзия оказались объектом преследований. Стремление зажать и задавить молодую поэзию и молодую литературу забавным образом сопровождалось постоянной фальшивой болтовней о «внимании» к молодым, к их «воспитанию»... Студенческое поэтическое движение, естественно, соприкасалось и переплеталось с первыми ростками «самиздата», рукописными и ротаторными журналами,

альманахами, сборниками и с оживлением студенческой стенной печати, существовавшей легально».

То обстоятельство, что к началу 1956 года Окуджаве доверили руководить литобъединением, говорит о многом. О том, в первую очередь, что, активно печатаясь в местной прессе и принимая участие в конференциях молодых писателей, он считался одним из ведущих калужских поэтов. А также о том, что, служа в газете «Молодой ленинец», он был на хорошем счету, идеологически устойчив, политически грамотен и потому был допущен к работе с молодежью.

*Нет, неспроста, в повседневном горении
жизнь к коммунизму трудом торопя,
с самого детства мое поколение
ленинцами называет себя.*

*Ведь для него, боевого и чистого,
приближающего дальние дали,
высшее счастье — быть коммунистами,
такими, как Ленин, такими, как Сталин...*

Эти строки были написаны Булатом в 1953 году по следам известных траурных событий и с надеждой на то, что дело, которому отдали всю свою жизнь без остатка его родители, не будет зачеркнуто и разбазарено, допущенные ошибки будут исправлены, а мир станет лучше и добрей. Но, с другой стороны, Окуджава абсолютно не обольщался на сей счет (как он скажет впоследствии — «я умел не обольщаться даже в юные года»), а пример его отца и матери, да и его собственный пример, всегда стояли перед глазами.

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «Я застрелил на дуэли прапорщика Скобцева, но мир не переменялся. И хотя я понимаю, что это не средство, с помощью которого можно улучшить человечество, однако оскорбителя прощать нельзя, оскорбителя нельзя отпускать с миром. Уж тут либо он меня в круглое лицо, либо я его — в квадратное».

XX съезд партии стал во многом созвучен мироощущению Булата, а вернее, мировидению его поколения, когда воспоминания о детстве, юности, родителях и друзьях были неразрывно связаны с победами и провалами режима, его зверствами и надеждами на светлое будущее, успехами и оглушительными поражениями. Окуджава вновь ощущал

невыносимую раздвоенность бытия («во всех этих выдумках кроется двойственность») и собственную раздвоенность в первую очередь, когда было категорически невозможно вычленив из себя идеально чистую сердцевину и следовать ей, не отвлекаясь на обыденное и мимолетное, не идя на компромиссы, не боясь оказавшихся у тебя за спиной. Потому и приходилось пристально всматриваться в людей в надежде угадать, кто же перед тобой на самом деле.

Только теперь Булат обратил внимание на то, что на указательном пальце правой руки у старика не было ногтя.

— Вижу, смущены. Не обращайтесь внимания, на лабораторной по физике сжег электрофорной машиной, несчастный случай, не более того, — старик отложил сборник на скамейку, — а поэма мне ваша про Константина Эдуардовича не понравилась, уж не обессудьте. Не жизненно как-то. Надуманно...

— Жаль... — Булат развел руками.

— Обиделись?

— Нет, совершенно не обиделся...

Грохоча на стыках и резко сбавив ход, поезд начал медленно втягиваться к платформе Киевского вокзала.

— С удовольствием изложил бы вам свою точку зрения полнее, но мы уже приехали, — старик встал со скамейки, — ну что ж, прощайте, — протянул руку, — меня, кстати, Федором Дмитриевичем зовут, а вас?

— А меня Булатом.

— Красивое имя, мужественное... Ну, прощайте, Булат.

Еще какое-то время Окуджава смотрел вслед уходящему через вагон странному своему попутчику и думал: «Хорошо, что его еще не Федором Михайловичем зовут».

Потом двинулся вслед за стариком, который вскоре затерялся в толпе совершенно.

На платформе Булат закурил.

— Гражданин, угостите папироской, — осклабился низкорослый, тщедушного сложения *баклан* и сразу после первой затяжки запел завывающим бабьим голосом:

*Как на Киевском вокзале
Труп нашли без головы.
Пока голову искали,
Ноги встали да пошли.*

Было в его дребезжащем пении что-то от прежней довоенной

арбатской жизни, которая теперь виделась такой бесконечно далекой и потому наполовину выдуманной, то есть такой, какой она никогда не была на самом деле, но такой, какой бы Булат хотел ее видеть.

Вышел на привокзальную площадь, а тут — пыльные, перелицованные пиджаки с залоснившимися локтями, стоптанные ботинки, плащи на ветру, шпана блажит, заломленные на затылок кепки, военные в галифе, крепкий дух креозота вперемешку с углем, а еще терпко пахнувшие тройным одеколоном бритые затылки — это калужские приехали в столицу, все при кастетах, разумеется, а Дорогомиловские — при ножах, и встречи с ними не избежать.

*Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.*

Спора нет, на площади перед вокзалом неуютно, сиротливо как-то, здесь, словно на параде размахивают жезлами регулировщики движения, а поливальные машины кружат, оставляя за собой черный, искрящийся на солнце асфальт, по которому несутся потоки воды, словно только что приключился дождь.

Булат прошел по набережной, поднялся на Бородинский мост, тут остановился, облокотился на перила и стал смотреть на проплывающие под мостом буксиры, на прогулочные теплоходы да на вырывающуюся из-под их винтов синеватую с разводами солярки пену, представляя себе, как сейчас придет к матери, войдет в ее полутемную, задрапированную тяжелыми шторами квартиру и подарит ей свою первую книгу.

«Перед нами была дверь... Нашим взорами предстала довольно большая зала, лишенная мебели; однако она была чиста, и крашенные полы, видимо, кем-то старательно натерты, и в окнах кое-где вместо выбитых стекол виднелись куски картона, и по стенам в мирном порядке были развешаны портреты в тяжелых рамах, в углу на соломе лежали какие-то предметы... Две двери, слева и справа, вели в другие покои» (из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»).

И вот из этого таинственного полумрака появится Ашхен

Степановна.

Булат видел, как она берет его книгу в руки и долго не решается ее открыть, все спрашивая при этом о его работе, друзьях, о внуке, о здоровье, словно бы специально оттягивает момент начала чтения. При этом она постоянно смотрит на фотографическую карточку, которая висит на стене в коридоре, словно бы с ней беседует, а не с живым Булатом, который стоит перед ней. На той фотографии запечатлен маленький кудрявый мальчик в яловых сапожках, шерстяной матроске, руки в карманах, взгляд имеет строгий и дерзкий.

Ашхен Степановна любит это изображение своего маленького сына, но ей кажется порой, что из-под стекла на нее смотрит Шалико, у которого точно такие же яловые сапоги, ровно такой же строгий и дерзкий взгляд, вот разве что вместо шерстяной матроски он облачен в белый хлопковый китель.

— Всё, пойду читать! — наконец решительно провозгласит мать, — подожди меня на кухне.

Дверь закроется, и Булат останется один.

Подойдет к окну и откроет его:

*У Краснопресненской заставы
весна погуливает всласть.
Она врасплох меня застала,
водой под шинами зажглась,
шофер смеялся, зубы скалил.
гражданка в хохоте зашлась...*

Конечно, в вагоне сделал вид, что слова старика — «не жизненно, надуманно» не задели его, даже как-то виновато, как вариант, глуповато улыбнулся тогда, но именно сейчас почувствовал неотступное желание понять, чем же его стихи так плохи, по крайней мере для этого человека, видевшего, как Циолковский пускал в Калужское небо монгольферы и катался на коньках по замерзшей Протве.

Может быть, все дело было в том, что у каждого своя жизненная история (она же — правда) и то, что одному кажется сокровенным и глубоко личным, другому видится банальным, то, что для одного является предметом его постоянных переживаний, для другого — давно пройденный этап, а еще разница в опыте сказывается, способность или неспособность к рефлексии, чувство ритма, языка, вкус, наконец. Нет, тут, пожалуй, невозможно прийти к общему знаменателю, однако одно бесспорно — умение

адекватно и профессионально соотнести собственные эмоции, переживания, собственные состояния и текст, написанный на листе бумаги. Казалось бы, расстояние между замыслом и этим самым листом минимально, но опасность впасть в искушение и оказаться заложником внезапного, а потому неистового вдохновения чрезвычайно велика.

Спустя годы Булат Шалвович напишет: «Беру перо в руки — дрожит, и дивные каракули прикрывают несовершенство слога».

Под несовершенством слога следует понимать несовершенство инструмента. И тогда приходит понимание того, что умение писать и работать с текстом, полностью подчиняя его замыслу и чувству, есть необходимый навык профессионального литератора или, по крайней мере, того, кто готов посвятить свою жизнь сочинительству. Таковую готовность Булат ощущал в себе совершенно и безусловно.

Итак, мысль стать слушателем литобъединения пришла сама собой, тем более, что многие знакомые поэты посещали знаменитую «Магистраль» Григория Левина в ЦДКЖ на Комсомольской площади. В то время слушателями литобъединения были Владимир Войнович и Александр Аронов, Лариса Миллер и Елена Аксельрод, Павел Хмара и Михаил Садовский.

Михаил Садовский вспоминал: «Территориально «Магистраль» располагалась в устье площади Трех вокзалов, в здании клуба ЦДКЖ (Центрального Дома Культуры Железнодорожников), построенного, как гласит литературная легенда, на деньги подпольного миллионера господина Корейко. Возглавил это литобъединение, принадлежащее железнодорожникам, выдающийся литературный педагог, поэт Григорий Михайлович Левин.

Разумеется, начальники от литературного процесса в МПС (Министерство путей сообщения — ох, и любили же у нас аббревиатуры) предполагали, что участниками этого литобъединения станут машинисты, инженеры, проводники и стрелочники — они не могли представить, что состав литераторов, мягко говоря, сильно расширит свои рамки, и процессом этим они управляли с большим трудом, с помощью парткома и месткома.

Очень скоро начальство поняло свою оплошность, но было поздно — закрыть литобъединение в такое «оттепельное» время неких послаблений и игры в демократию оказалось невозможно...

Каждое занятие в «Магистрالي» превращалось в прекрасный литературный вечер, и все эти вечера не имели лишь одного — конца. Уже поздно, уже мы все разобрали свои пальто и плащи из

гардероба, потому что служителю пора уходить и закрывать свой «отдел», уже пришел не однажды вахтер, сторожащий вход и предупредил, что закроет дверь и никого не выпустит, но и это никого не пугает... разве можно передать хоть каким-нибудь способом притягательную силу поэзии в кругу милых сердцу людей... Это был единственный недостаток «Магистрали» — недостаток времени. Недостаток постоянный и неисправимый... Все читали помногу, все читали долго, наши поэтические вечера затягивались неимоверно... но публика знала нас, была закаленная, не только не протестовала, но, наоборот, была благодарна!».

На свое первое обсуждение в «Магистраль» Булат принес сборник стихов «Лирика» (тот самый, который он подарил маме) и был подвергнут совершенно разгромной критике. Потрясение его было столь велико, что следующие полгода он вообще не мог писать. Именно здесь, на площади трех вокзалов, Окуджава впервые столкнулся с тем, что называется «работа в мастерской», когда ты начинаешь соотносить (на первых порах мучительно, как правило) собственное творчество с общелитературным контекстом, когда изобретение колеса признается мероприятием пусть и похвальным, но еще слишком далеким от настоящего творческого прозрения, а совет коллег по цеху (порой весьма бестактный и даже грубый) «переваривается» не с целью освоить навык отвечать грубостью на грубость, а с целью научиться предельно беспощадно относиться к собственному сочинительству, ни в коей мере не останавливаясь на достигнутом, не возносясь, но при этом обретая уверенность в своей творческой уникальности и неподражаемости.

Спустя годы Булат Окуджава скажет: «Мое становление поэта совпало с тем временем, когда я был членом «Магистрали».

Поэт и переводчик Лазарь Шерешевский таким увидел Окуджаву в те годы: «Булат 56-го года — это роскошный красавец, с огромной копной черных кудрей, с пронзительными глазами, с нервными движениями. Он приехал на этот семинар, будучи автором первой книги стихов. Она называлась “Лирика” — беленькая такая, с растительным узором на обложке, вышла в Калуге. Но надо сказать, что эта книжка особо выдающегося впечатления не произвела, она была в каком-то общем строю тогдашней лирической поэзии».

Думается, что помочь начинающему автору из Калуги открыть в себе новые интонации и овладеть мастерством стихосложения, а также выйти на качественно новый уровень поэтического мышления, пожалуй, мог только Григорий Михайлович Левин, бессменный руководитель «Магистрали»,

культовый персонаж поэтической Москвы 50-х–60-х годов, знаток поэзии и прекрасный педагог.

Андрей Вознесенский писал о нем: «Он вел “Магистраль” — самую интересную поэтическую студию той поры. Читать там было и прекрасно, и опасно. Помню магистральцев — похожего на кудрявого лицеиста Александра Аронова, Евгения Храмова, Нину Бялосинскую. Всех их озаряло нищее самосожженчество Левина. Бескорыстие его. Некоторые, покинув гнездо, становились и конъюнктурщиками, и агрессивными завистниками. Но присутствие мэтра гасило в них низменные качества. В «Магистрالي» они были поэтами. Он был максималистом. Порой это всё губило. Но и в этом он оставался поэтом...

В каждом поэте должно быть хотя бы немножко Гриши Левина. Помню одинокую, с белыми патлами фигуру сухого Арагона, идущего по ночным Елисейским полям. Мне вдруг показалось, что мелькнул профиль Гриши Левина. И в Арагоне — на закате его дней — прорезался этот нищий, самосожженный абрис поэта».

«Однажды я показала Григорию Михайловичу стихи, написанные после поездки на Север. Конечно же, там было про белые ночи и про морошку. Дочитав до конца, Левин разочарованно сказал: «А я думал, вы вспомните о Пушкине. Вы ведь знаете, что он перед смертью просил морошки». Григорий Михайлович заговорил о Пушкине, потом о Блоке, потом о ком-то еще. Мы вышли из Клуба железнодорожников, где собиралась «Магистраль», пошли по Каланчевке, дошли до Садового кольца, а Григорий Михайлович все говорил и говорил энергично и страстно о поэтах старых и новых, о поэзии и переводах, читал стихи свои, чужие, известные и неизвестные...

Он знал миллион строк, имен, историй и готов был ими поделиться. Мы шли и шли, и кажется добрались до ЦДЛ, где и расстались. «Пишите и несите все, что напишете. Буду ждать». — сказал Григорий Михайлович на прощанье.

Еще до нашего с ним знакомства кто-то из друзей посоветовал мне: «Пойди к Григорию Левину. Он чокнутый. Будет часами говорить с тобой о литературе и разбирать твои стихи». Все так и вышло», — пишет о Григории Левине Лариса Миллер.

Из воспоминаний Зои Шишковой:

«Он открыл нам многих поэтов, известных и неизвестных, научил отличать истинную поэзию от поэтической красоты. А как он читал стихи! Свои же стихи читал мало и редко, как бы по необходимости, и почти всегда одни и те же, наверно потому, что эти стихи проще для восприятия. И еще потому, что скромным

был, себя как бы на второй план ставил. Зато использовал любую возможность, чтоб опубликовать стихи своих питомцев. И еще запомнилось: при разборе даже самых слабых стихов всегда отыскивал в них хоть одно точное слово, хоть одну сильную строчку, чтобы поддержать молодого поэта.

Однажды Григорий Михайлович пригласил нас, школьников, в свое главное литературное объединение — в “Магистраль”. Там, благодаря Григорию Михайловичу, мы впервые услышали и увидели живого Окуджаву».

К этому моменту, надо полагать, Булат уже прошел свои первые «Левинские» университеты, выйдя из творческого кризиса поэтом глубоко лирическим, более склонным к мелодическому (в смысле интонации и языковой пластики) осмыслению переживаний и мироощущения своего героя, поэтом, предпочитающим пушкинское звучание слова рваной акцентированной ритмике модернистского стиха.

*Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.
Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье...*

Можно утверждать, что работа в подобной стилистике требовала от Окуджавы полной и абсолютной сосредоточенности на постоянно звучащей в его голове музыке, которую было необходимо улавливать и фиксировать, но не при помощи нот, которых Булат не знал, а при помощи слов, что неотступно преследовали его.

В электричке «Калуга — Москва».

Дома.

В газете «Молодой ленинец».

На партсобраниях.

На дружеских вечеринках.

Или вот, например, сейчас, на Бородинском мосту, под которым проходил прогулочный теплоход «Чкалов» с красивыми девушками на палубе. Они смеялись и махали ему руками.

Булат улыбался в ответ.

Потом спустился на Смоленскую набережную и направился в сторону бывшей электростанции Трехгорной мануфактуры.

Мать рассказывала, что вскоре после его рождения, отец тогда срочно уехал в Тифлис, она принесла маленького Булата в заводоуправление Трехгорной мануфактуры, где работала плановиком, и тут, в присутствии товарищей, были проведены так называемые *октябрины* — малышу дарили погремушки и пеленки, пели «Интернационал», пионеры дудели в горны и носили вырезанные из картона красные звезды, а молодая мать перед лицом парткома мануфактуры клятвенно заверяла собравшихся, что воспитает сына в духе преданности делу трудящихся во всем мире. Все улыбались, аплодировали и пили чай с сушками.

Странный, полузабытый эпизод из какой-то совсем другой жизни — как во сне, когда все движения заторможены, а усилия таковыми не являются по определению, так как неизбежно проваливаются в какую-то вату или туман.

И вот сейчас, когда Булат шел к матери, которая после возвращения из лагеря, по иронии судьбы, получила двухкомнатную квартиру именно на Краснопресненской набережной недалеко от Трехгорки, он пытался понять, чем для него был этот словно выплывший из небытия эпизод, который с годами обрастал абсолютно немислимыми подробностями: вот его заворачивают в кумач и кладут на стол, за которым сидит партактив мануфактуры, вот комсомольцы передают его из рук в руки и поют песню «Нас водила молодость» на слова поэта Багрицкого, вот, наконец, мать прикладывает его к портрету Ленина, украшенному искусственными цветами.

Конечно, смыслом всего происходящего для Булата была (это он понял с годами) Ашхен Степановна, которой он доверял бесконечно. В ее истово сияющем взоре, туго забранных в пучок на затылке волосах и благородной осанке было что-то библейское, не подвластное ни времени, ни испытаниям, ни, самое главное, людям, которые могли как помочь, так и предать, как полюбить, так и возненавидеть.

Настоящих людей так немного...

Все вы врете, что век их настал.

*А подсчитайте и честно, и строго,
сколько будет на каждый квартал.*

Настоящих людей очень мало,

*на планету — совсем ерунда.
на Россию — одна моя мама,
только что ж она может одна...*

По возвращении с Трехгорки домой Ашхен укладывала маленького Булата спать, а сама садилась писать письмо своему Шалико, в котором рассказывала о том, как прошли *октябрины*, что ей подарили товарищи, а также о том, что малыш вел себя прекрасно и почти не капризничал.

Письма ее не сохранились — часть конфисковали после ареста отца, другая часть пропала после переезда из Нижнего Тагила на Арбат.

Стало быть, время сохранилось исключительно в памяти, но память выборочна и прихотлива, как известно, она имеет свойство приспосабливаться к обстоятельствам, легко превращая невыносимое в желанное и наоборот.

И вот теперь циклопическое здание МИДа нависало над местностью.

Отовсюду его было видно: с Ленгор и с Потылихи, от Дорогомилово и с Пресни.

Булат шел по набережной и краем глаза посматривал на это громадное сооружение, более напоминавшее зиккурат в Древней Месопотамии или горный массив, который на высоте более ста метров украшал железобетонный герб СССР.

При этом приходилось также постоянно смотреть и под ноги, потому что нескончаемый поток грузовиков, что тянулся вплоть до усадьбы Студенец, где шло строительство набережной, дорогу разбил окончательно.

А ведь еще помнил то время, когда здесь были устроены купальни — деревянные выгородки, где летней порой с утра до позднего вечера проводила время вся без исключения арбатская и пресненская шпана.

Бабушка не пускала Булата на реку, но тайком он, конечно, убегал сюда.

Собирались на выкрашенном зеленой комкастой краской дебаркадере, привязанном ржавыми тросами к берегу.

Жгли костер.

Курили.

Дорогомиловские приносили пиво.

Бывало, что дрались.

Ну, и купались, само собой.

Сейчас купальни сломаны, дебаркадер отбуксировали куда-то

к ближе к Лужникам, и только грузовики с песком и щебенкой круглые сутки утюжат прибрежную линию.

Булат вошел в гулкий парадный.

Где-то наверху загремел люк мусоропровода, хлопнула дверь.

Нажал на кнопку вызова лифта.

И все повторилось: как тогда, в детстве, на Арбате в недрах дома тут же ожил электрический мотор, сопровождаемый однообразным гулом лебедки, которая выпустила в шахту раздвоенный, как змеиный язык, густо смазанный тавотом металлический трос.

Усмехнулся своим воспоминаниям.

Видимо, в этих совпадениях состояний был какой-то свой смысл, понять который сразу не представлялось никакой возможности, но лишь со временем этот смысл раскрывался, связывая воедино разрозненные события жизни.

Лифт остановился на первом этаже.

Булат вошел в кабину и захлопнул металлическую дверь, оставшись в едва освещенном подслеповатой электрической лампочкой замкнутом пространстве.

А ведь мать никогда не рассказывала сыну о том, что она пережила в заключении.

Просто замолкала, когда об этом заходил разговор, или переспрашивала по нескольку раз, если просьба рассказать о лагерной жизни звучала слишком настойчиво, словно до нее не доходил смысл этой просьбы, словно она ослышалась и не могла понять, зачем рассказывать о том, что для нее было частью небытия, а теперь для кого-то есть предмет любопытства.

Конечно, сначала Булат не понимал, что происходило с Ашхен после ее возвращения. Особенным потрясением для него стало первое освобождение матери из заключения, когда она легла на узкий деревянный топчан, стоявший в коридоре, поджала ноги и стала улыбаться, еще до конца не веря в то, что теперь не придется вскакивать по команде дневального по бараку.

Конечно Булат знал о том, что людей, долго голодавших, нельзя сразу потчевать многими яствами, ведь, отвыкнув от еды, они могут просто умереть от ее переизбытка.

Но ведь точно так же обстояло дело и со свободой, о чем 23-летний Окуджава, конечно, не догадывался. Лишившись свободы однажды, человек не сразу может вернуться к обычной жизни, не сразу может осознать радость не поднадзорного существования, внутри которого он уже выстроил свой мир и научился защищать его от посягательств. Этот мир невелик, он подобен замкнутому пространству внутри кабины лифта, что движется по воле электрического мотора и раздвоенного, как змеиный язык,

металлического троса, густо смазанного тавотом.

То верх, то вниз.

В рассказе «Девушка моей мечты», написанном в 1985 году, Окуджава попытался осмыслить это чувство.

Вот Ашхен в сером ситцевом платъице, помятом и нелепом, с фанерным сундучком с вещами стоит посреди пустого двора.

А ведь по этим самодельным фанерным сундучкам, обклеенным дерматином или дешевыми бумазейными обоями, можно было узнать тех, кто возвращался из лагерей.

Они брели по Неглинке и Цветному бульвару, по Плющихе и Сокольникам, по Щипку и Марьиной роще.

Их можно было безошибочно опознать по совершенно отсутствующему, потустороннему взгляду, устремленному, казалось, внутрь себя, словно бы там, в таинственной глубине, происходило нечто куда более существенное, нежели в окружающей жизни с ее суетой и дрязгами.

Из рассказа Б.Ш. Окуджавы «Девушка моей мечты»: «И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице».

Попытки развлечь Ашхен: прогулка по городу, совместное посещение кинотеатра, еще какие-то затеи, которые уже и не упомнишь, успеха не имели.

Мать была как бы и рядом, но в то же время отсутствовала. С удивлением и любопытством она смотрела на окружающих ее людей, на лице которых она не находила печати лагеря, не видела «своих», не чувствовала только сидевшим знакомого запаха сырого цемента, прелой кирзы, махорки и годами не стиранного нижнего белья.

Ашхен останавливалась и закуривала.

Лифт остановился.

Булат вышел на лестничную площадку, подошел к окну и открыл его:

Так здравствуй, день! Он петь заставил.

Он — словно лебедь с высоты...

У Краснопресненской заставы

дарили женщинам цветы...

Конечно, маме понравился первый сборник стихов сына, она прочитала его несколько раз с удовольствием и гордостью за своего мальчика, который за все то время, пока ее не было, оказывается, вырос в настоящего поэта. Помнила, как в детстве, еще не умея читать, он мог часами зачарованно перелистывать страницы книги с напечатанным на них текстом, а потом, уже овладев грамотой, сам сочинял, воображая себя настоящим взрослым писателем.

У Сартра в его «Словах» об этом сказано чрезвычайно точно: «Меня забавляли задумчивые дамы, скользившие от полки к полке в тщетных поисках автора, который насытил бы их голод; они и не могли его найти, ведь им был я — мальчик, путавшийся у них под ногами, а они не смотрели в мою сторону».

Быть писателем и доказать окружающим, что ты состоятелен в этом своем бытовании, — задача трудновыполнимая, но выполнимая!

Булат вошел в квартиру матери, залитую солнцем.

Ашхен обняла сына и сказала ему, что только что ей позвонили и сообщили, что Шалико реабилитирован, а это значит, что он ни в чем не виноват.

Немая сцена! Но ведь он знал это еще в Нижнем Тагиле и на Арбате, в Тифлисе и на фронте, тысячу раз возвращался к этой мысли в Шамордине и Калуге.

И Булату захотелось закричать (как тогда на митинге памяти Кирова): «Но ведь они все равно его убили, и его не вернуть!» — но он не закричал.

Сдержанно улыбнулся в ответ и вышел на балкон.

Закурил.

Над гигантской стройкой гостиницы «Украина» стоял гул работающих экскаваторов и подъемных кранов.

— А все-таки, сынок, какая же у нас великая и прекрасная страна, — раздалось слова матери у него за спиной.

Интродукция

Слухи о найденной на платформе «Мичуринец» рукописи каким-то образом все-таки распространились по Москве, и рассуждать о том, кому бы она могла принадлежать, принялись люди, напрямую к литературе отношения не имевшие, а потому безапелляционные в суждениях, решительные и абсолютно уверенные в своей правоте.

Многие из них якобы уже читали машинописную, подслеповатую, на пожелтевший от времени бумаге копию и были абсолютно уверены в том, что это Эйдельман или Чивилихин, Гордин или Окуджава.

Однако именно этот всякий раз некстати появлявшийся союз «или» вносил в спор об авторстве рукописи интонацию неуверенности, недосказанности и полной непредсказуемости, как, впрочем, и сам сюжет анонимного текста.

История, изложенная в Прологе нашей книги, получила меж тем следующее продолжение:

«Уже в отряде Игнат Иннокентьевич внимательно выслушал Розена, который, кстати, вполне сносно говорил по-русски, ведь его предки жили в России, да и сам он бывал в Петербурге, не поверил ни одному его слову и приказал его расстрелять.

Много позже в своем дневнике Михаэль так опишет этот расстрел:

“Наутро меня вывели из сарая, в котором содержали после допроса. Сырой хвойный дух вперемешку с дымом костра, что слоями висел над крышами изб и шатров, показался мне необычайно освежающим. Он словно бы разливался по всему лесу, и партизанский лагерь находился на дне какого-то неведомого водоема, заполненного непрозрачной перламутровой отливой водой. Особенно это чувствовалось после бессонной ночи, когда любое растворенное в тумане изображение принималось за видение, за мираж, а человек — за призрака. Я не знал, куда и зачем меня ведут, но, когда мы миновали опушку со стоящим посередине огромным корявым столетним дубом на ветвях которого висели наши корпусные канониры, мне все сразу стало ясно.

Значит, тогда, давно старший брат все-таки был прав, когда говорил, что старое дерево не только не дает жизнь, но и отнимает ее. Хотя, может быть, все бы сложилось по-другому, если бы внезапный ветер набросился на старое дерево, а оно, будучи не в силах противостоять его стремительным порывам, затрещало, разрывая собственную кору, и рухнуло бы на землю,

хоть таким образом упокоив несчастных повешенных.

Но ветер отсутствовал!

Наконец мы спустились в заросшую редким кустарником балку, где несколько мужиков копали яму. Свою работу они делали молча, а увидев меня, отвернулись. Среди могильщиков я узнал ночного мужика-лесовика. От работы он вспотел, и его борода прилипла к впалой груди. Лишь он один усмехнулся, искоса посмотрев на меня, и что-то пробормотал себе под нос. Они копали мне могилу. Когда же работа была закончена, то меня подвели к самому краю ямы и завязали глаза тряпкой. Еще какое-то время, показавшееся мне вечностью, слышались их голоса, щелчки взводимых ружейных замков, команды, а потом раздался залп”.

— А знаешь, иногда надо умереть, сгинуть, провалиться в самую преисподнюю, чтобы оттуда, из самой что ни на есть глубины выбраться наверх, ожить, воскреснуть.

— Как Иисус Христос?

— Да... и тогда тебе ничего не будет страшно, потому что ты уже видел худшее.

— Смерть, темноту, небытие?

— Хуже, — Дуня улынулась, — собственную низость и несовершенство видел, видел себя не таким, каким привык себя показывать людям каждый день — добрым, благородным.

— Послушным!

— Точно говоришь, послушным, а совсем другим — злым, завистливым, дерзким, не могущим сдержать гнев, уверенным, что только тебе ведомо настоящее страдание.

— А как быть, если ты сам до конца не знаешь, кто ты, если ты уверен, что добр, хотя можешь быть и резок, даже груб, но ведь это не отменяет этой самой сердечной доброты.

— Знаешь, никому ничего невозможно объяснить. Сколько сил и слов было потрачено на объяснения, и уже казалось, что понимание наступило, но это оказывалось лишь временным просветлением, вспышкой, против которых восставало все существо человеческое, и все возвращалось на круги своя.

— Откуда ты все это знаешь? — Михаэль взял Дуню за руку.

— Наш отец умер рано, когда мы были еще совсем маленькими, матушка почти всегда болела, редко выходила из дому, и так получилось, что я, старшая сестра, стала матерью Игнату и Коле.

С Игнатом всегда было очень трудно. Однажды, обидевшись на меня, он ушел из дому и заблудился в лесу. Это было зимой. Я искала его всю ночь и нашла только под утро — он лежал на земле, а рядом с ним сидела огромная лохматая собака. Увидев

меня, она зарычала, потому что это она спасла моего брата. А Коля был совсем другим — тихим, медлительным, незаметным, он не любил гулять и большую часть времени проводил дома с матерью. Коля боялся Игната и не любил его. Он сам мне так говорил — “Ненавижу Игнатку, жаль, что ты его тогда в лесу нашла, лучше б он замерз”. Но все вышло совсем по-другому — Коля сгорел в московском пожаре...

И вот сейчас, слушая эту молодую женщину, Розен думал о том, почему она спасла ему жизнь, почему вопреки приказу брата остановила расстрел в лесу, почему рассказывает ему о своей жизни так, словно они знакомы много лет, почему она ему верит. На все эти вопросы у Михаэля мог быть только один ответ — в ее жизни все сложилось иначе, по-другому, не так, как ей хотелось бы, и теперь пришло осознание этого.

Быть не тем, кто ты есть на самом деле! Вот откуда взялись слова Авдотьи Иннокентьевны о привычке быть на людях одним, а внутри самого себя таиться и оказываться совсем другим, мучиться, страдать, воевать с самим собой.

Михаэль всегда завидовал своему старшему брату, которому были неведомы внутренние сомнения. Всегда, везде и со всеми он был одинаков — прямолинеен, резок, громогласен. Казалось, что даже сам с собой он разговаривал так. С одной стороны, брат завидовал брату — как он умеет так, без сомнений и метаний, принимать решения, идти к их выполнению и даже не подозревать, что могут существовать и другие варианты, другие пути. Но с другой стороны, Михаэля пугали эти вечно напряженные скулы Эриха Розена, играющие желваки, за которыми воображение рисовало kloкочущие страсти, которые разрывали его изнутри, но он не давал им выплеснуться наружу. Значит, он тоже был не тем, кто он есть на самом деле.

Узнав о том, что расстрел Розена не состоялся, Игнат Зотов пришел в ярость. Он вызвал к себе сестру, долго разговаривал с ней, потом выгнал ее и приказал привести к нему пленного.

Из дневника Михаэля Розена:

“Довольно долго мы просидели в полном молчании. Игнат Иннокентьевич неотрывно смотрел перед собой в одну точку, но взгляд его при этом ничего не выражал, был каким-то отсутствующим, стеклянным. Не знаю, может быть, он не знал, с чего начать разговор, и тщательно обдумывал, каким должно быть первое слово. Хотя нет, вряд ли. Он не производил впечатление человека, сомневающегося в себе, в своих словах и поступках.

И тогда разговор первым начал я. Он усмехнулся, но не стал меня перебивать. В продолжение всего моего рассказа о себе, о

моей семье, о Петербурге он был абсолютно неподвижен. Мне даже казалось, что он не слушает меня. В эти минуты он был так похож на моего старшего брата, когда тот с неистовым напряжением вслушивался в многоголосый рев страстей, kloкотавших внутри него. Беспокоить, тревожить его в такие минуты было небезопасно.

Когда же я закончил, он неожиданно произнес:

— Она любит тебя.

— Кто?

— Моя сестра! Она сказала, что не может жить без твоей улыбки и смеха...

И действительно, я вспомнил, как мы смеялись ночью в лесу, когда партизаны поймали меня и бородатый мужик-лесовик освещал мое лицо масляной лампой.

— Я все понимаю, — глухо, едва слышно продолжил Игнат, — она отдала мне и брату все. Она была нам и сестрой, и матерью, и отцом, у нее ничего и никого, кроме нас, не было. Я знаю, как ей было тяжело с нами, ведь я презирал и бил Николашу, а он ненавидел меня, боялся и желал мне смерти. И вот он сгорел, а я жив. Почему так?

Это были его слова — “Почему так?”

А ведь еще вчера этот человек безо всякого сомнения отправил меня на расстрел, свершись который, он, вполне возможно, спустя годы сказал бы точно так — «Зачем?» Но время и жизнь бы уже ушли и ничего нельзя было бы исправить, изменить.

Игнат Иннокентьевич встал из-за стола, подошел к шкафу и достал оттуда мой дневник. Протянул его мне:

— Твой?

— Да, — ответил я.

— Забирай, — и, помолчав, добавил, — а кто этот Альфред Розен?

И тогда я рассказал ему о своем прадеде, известном в Потсдаме оружейнике, которого в Петербург пригласил лично император Петр I, о его замысле сконструировать скорострельную многозарядную пушку, коей было даже придумано название “Большая Ансельма”, о том, что Федор Казимирович, так звали Розена на русский манер, всегда носил с собой этот блокнот, в котором он вел расчеты своего будущего изобретения, о том, что прадед умер от воспаления легких и производство пушки остановлено, а после него в его питерском доме остались только книги”.

Утром следующего дня повалил густой мокрый снег, и Боровские леса оцепенели.

Так и стояли они без движения и дыхания.

Дорог было уже не найти, их занесло, сравнило с непроходимыми топями и песчаными откосами, утыканными колючим кустарником, с лугами и полянами, с горюхосходными холмами, заросшими густым ельником, с поймами потоков и лощинами, с промоинами ключей и болотным царством.

Следы почти сразу чернели и наполнялись водой, змеились, петляли, напоминалидохлых птиц, в остекленевших глазах которых отражались летящие с неба хлопья снега.

Как куски хлеба, которыми и предполагалось кормить этих самых птиц. Хлеб падал на землю, лежал так какое-то время и превращался в мякиш, из которого можно было лепить фигурки сказочных животных.

Животные выглядывали из своих нор, нюхали воздух, запахи леса, к которым примешивались и дымы далеких костров, пороховая гарь. Наблюдали за идущим по снежной целине человеком.

Его фигура то появлялась между деревьями, то пропадала на почерневших земляных отмелях, и могло показаться, что человек плывет, раскачиваясь на пологих, тяжело и медленно переваливающихся друг через друга волнах-курганах.

Так на Дышащем море всегда начинался шторм.

Ветер стелился по над черной, ребристой рябью воды, расплескивал ее, нарастал, гудел, и чаша залива начинала медленно, но верно вторить в такт этому плеску, закипала, раскачивала горизонт, накидывая волны друг на друга, сталкивала их, трещала снопами брызг, что потом еще долго летали над полем брани, а затем и падали, вспарывая базальтового оттенка пенистое месиво.

Буря открывала и закрывала свою пасть, плевалась, с ревом выдыхала, но всякий раз оказывалась придавленной ко дну небом, в которое она изрыгала свои проклятия.

Человек остановился, и звери, наблюдавшие за ним из своих нор, замерли.

Сквозь пелену снега было видно, как он снял с себя драный нагольный тулуп и остался в холщовой землистого цвета рубаше и рваных портах, перетянутых онучами, поверх которых были надеты огромные, облепленные глиной лапти.

Человек лег на землю спиной, и стало видно, что он слепой, потому что комья мокрого хлебного мякиша тут же и заполнили его пустые глазницы, словно бельмы, словно оспины на его рябом, синюшного оттенка лице.

— А ведь я только и мечтаю о том, чтобы предстать перед Спасителем нашим Иисусом Христом, перед Его грозным взором

и быть наказанным за все мои лютые грехи, которые Ему известны! Я мечтаю гореть в геенне огненной вместе с такими же, как я, мечтаю, чтобы меня рвали на куски дикие псы, чтобы угли пылали в моих глазницах, — вдруг истошно заголосил юродивый.

Он стал при этом корчиться, изворачиваться змеем, полозом ли, биться в судорогах, хрипеть и причитать: Призри, призри, Господи, на раба Твоего Лукьяна по прозванию Корейша”.

Снег сыпался ему в рот, но он руками выгребал его оттуда, выплевывал, захлебывался, давился...

Впрочем, это продолжалось недолго.

В какой-то момент Корейша даже попытался встать, но не удержался и вновь упал на землю, но теперь уже лицом вниз. От этого удара в голове грохнуло изогнутое в дугу медное клепало, напоминающие кособокий, заросший мхом забор, редкие зубы сомкнулись, закусив язык, а изо рта пошла кровь.

Юродивый глухо застонал, поджал колени к животу и спрятал лицо в ладонях.

Так он и лежал безо всякого движения, пока не превратился в сугроб.

Никто не знал, где жил Лукьян, откуда он родом и сколько ему лет. Говорили, что его видели еще деды и даже прадеды, помнили, как он круглый год ходил в безразмерном нагольном тулупе, мог появиться в самом неожиданном месте и в самое неожиданное время и всегда спал на земле под открытым небом. Несколько раз его даже находили бездыханным с поджатыми к животу коленями и спрятанным в ладонях лицом.

Так произошло и на этот раз.

Объезжая по первому снегу с конным разведотрядом Комлевские леса, что упирались в Протву, откуда и до Боровска было рукой подать, Авдотья Зотова натолкнулась на лежащего на опушке человека в холщовой, землистого цвета рубаше и рваных портах, перетянутых онучами, поверх которых были напялены огромные, облепленные глиной лапти. Рядом валялся тулуп и сооруженная из суровья сумка с окаменевшими хлебными корками и едва различимым образом Богородицы внутри.

Когда окоченевшее тело извлекли из-под снега, то звери, неотрывно наблюдавшие за происходящим, вышли из своих нор и завыли.

Под этот вой юродивого завернули в войлочную попону, положили поперек седла одной из лошадей и таким образом двинулись в лагерь.

Конечно, этот однообразный, теряющийся в падающем снегу звук Дуня знала очень хорошо, звук, который способно издавать больное, закатывающее глаза животное с прижатыми к голове

ушами.

Ведший под уздцы лошадь с Корейшей рослый кудрявый парень остановился:

— Авдотья Иннокентьевна, волки вроде... может, по кружной пойдем, а то можем и не отбиться.

— Иди, иди, Митя, — улыбнулась Зотова, — не бойся, нас не тронут.

А потом произошло то, что происходило не раз. После полутора часов пути Лукьян вдруг очнулся, начал мычать, закашлялся и после нескольких резких, неожиданной силы движений спеленутыми ногами упал на землю.

Отряд тут же остановился.

Вой затих, и перестал идти снег.

Войлочная попона распахнулась, а юродивый на четвереньках тут же и выбрался из ее колючих, пахнущих дымом костра объятий, и быстро заговорил:

— В чистом поле стоит ива, на той иве птица гнездо вила,
Яйцо с птенцом в море уронила.

Как у этой птицы об яйце сердце болело,

Так чтоб и у раба Божьего Михаила сердце ныло

И свербело о Божьей рабе Авдотии.

С молодыми и красивыми чтоб ее не забыл.

До седой старости чтоб ее любил.

Чтоб была она ночью ему луной, а на заре — утренней звездой.

В жажду — сладкой водой, а при голоде — едой.

Руки ее, что крылья, глаза ее, что стрелы!

Век им друг друга любить, век им друга друга не забыть!

Замки ключами закрою, замки в пески зарою, ключи в море-окиян царю Поддонному брошу.

Кто те ключи достанет, кто те замки со дна морского добудет, только тот им преградой и станет.

Ключ!

Замок!

Язык!

Аминь!

Все то время, когда Корейша произносил этот заговор, он ползал по войлоку, пытаясь нащупать свою суму. Наконец, когда это произошло, с последними словами — «ключ, замок, язык, аминь» — он выхватил из сумы образ Богородицы, вскочил на ноги, размахнулся и что есть силы бросил его в сторону погруженного в промозглые полупрозрачные сумерки бора.

Впрочем, он подумал, что кинул ключи в море-окиян.

И тогда Дышащее море вновь ожило.

Ветер пронесся над верхушками деревьев, полностью стряхнув с них снег в черную, ребристую воду. Раздался громкий плеск, словно море закипело, исторгнув из себя несчетное количество снопов брызг, которые потом еще долго летали над полем брани, а затем и падали, вспарывая базальтового оттенка пенистое месиво.

Буря при этом нарастала, она открывала и закрывала свою пасть, плевалась, с ревом выдыхала обрывки водорослей и дохлых рыб, но всякий раз оказывалась придавленной ко дну небом, в которое она изрыгала свои проклятия.

— Никто не достанет ключ! Никто не добудет замок! Уста мои заперты! — заголосил Корейша и принялся руками затыкать рот, а заледеневшие хлопья снежного мякиша ударили его по лицу, словно брызги, и тут же проступили солью.

Авдотья Иннокентьевна ощутила эту соль на губах, будто бы сделала глоток морской воды.

А еще так было, когда, все узнав про них с Михаэлем, ее по лицу ударил Игнат и она прикусила губу, ощутив при этом солоноватый привкус крови.

Сестра тогда отступила от брата на несколько шагов и, сняв висевший на стене кавалерийский штуцер, глухо, словно разговаривала сама с собой, произнесла:

— Еще раз поднимешь на меня руку, пристрелю как собаку.

Было в сказанном нечто такое, от чего лицо Зотова потемнело, словно овладевшее им бешенство отныне уступило место страху, ведь сейчас перед собой он впервые увидел вовсе не свою сестру Дуню, а кого-то другого, готового его убить в любую минуту.

Стыд и обида захлестнули Игната:

— Оно не заряжено, — усмехнулся, закашлялся, почувствовал, что его левый глаз дернулся, чего с ним никогда не бывало, тут же закрыл его ладонью, но глаз продолжал дергаться и под ладонью, увидел правым глазом, как сестра, не говоря ни единого слова, достала из патронной сумки заряд, высыпала порох в ствол, шомполом вставила пулю, после чего взвела курок и надела на полку капсюль.

— А вот теперь заряжено, — не отрывая взгляда от брата, Авдотья Иннокентьевна подняла штуцер.

Она увидела, как Игнат растерялся, как убрал ладонь от левого глаза, почерневшего от кровоподтека, как опустил руки по швам, как, едва шевеля карминовыми пересохшими губами, пробормотал:

— Стреляй... — встал на четвереньки, подполз таким образом к сестре и уперся лбом в ствол штуцера.

— Знаю, — заговорил он, не умея сдержать уже всей левой половины лица, что словно ожила, задвигалась, превратив тем самым бордовый провал глаза в нору ли, в пещеру, внутри которой метался едва различимый зрачок, — знаю, что нет ничего хуже и богопротивней лжи, потому как она есть дьявольское наваждение и отнимает у человека ум, превращает его в животное, в раба своих страстей, а глаза врущего становятся мутными, как вода в придорожной луже, и сам он начинает верить в неправду, не может отличить вымысел от яви, потому что болен, потому что боится своей болезни, все более и более срастаясь с ней! Да, хорошее слово — кривда, емкое, всю суть лжи раскрывающее!

— О чем ты? — Дуня опустила штучер.

— О себе, — Зотов сел на пол и закрыл лицо руками...

Вечером этого же дня Игнат Иннокентьевич напился пьяным до такого состояния, что только и смог проговорить, едва шевеля пересохшими губами: «отчаяние», после чего повалился на пол и уснул, проспав таким образом до вечера следующего дня».

Глава 4

К Наровчатову, с которым познакомился в Калуге на одном из его выступлений, пришел часам к пяти вечера. Долго перед этим плутал в районе Самотеки, пока наконец не вышел на Волконский переулок. Здесь, в старом облупившемся двухэтажном кирпичном доме, в коммуналке и жил поэт, журналист, военный корреспондент, кавалер орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды Сергей Сергеевич Наровчатов.

Из рассказа Б.Ш. Окуджавы «Подозрительный инструмент»: «Он сидел у давно не мытого окна, большой, грузный, посыпанный пеплом от папирос, в прошлом пронзительный красавец, этакий обрюзгший римский патриций, загнанный в московский коммунал, страдающий от отсутствия денег и возможности выпить, и Ивану Иванычу захотелось его ублажить, ему было лестно расстараться для такого поэта, встретившего его с неподдельной радостью. Большие, чуть поблекшие голубые глаза ребенка, и улыбка на мясистых губах, и самые располагающие ленивые интонации опустившегося барина:

— Хорофо, что ты, брат, прикатил! Футка ли, мы не виделись уже больфе года... А у меня, понимаеф, ничего нет, чтобы отметить...

А у Ивана Иваныча было с собой как раз немного денег, и он, чтобы потрафить гению, бросился в ближайший гастроном, купил поллитровку, сыру и стремительно воротился. Надвигались летние сумерки. Они торопливо разгребли место на захламленном столе и выпили. Наровчатов счастливо вздохнул. Засосал папиросу. К сыру не притронулся. Благосклонно смотрел, как Иван Иваныч закусывал сыром.

— Ну давай, давай же еще по одной, брат, — сказал Наровчатов капризно.

Они выпили еще.

— Спефыть не надо, — сказал Наровчатов, — но и затягивать глупо.

И опрокинул последние полстакана и тут же задымил. Иван Иваныч захмелел и поэтому лихорадочно закусывал сыром. Бутылка была пуста.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — не мефало бы добавить.

— Давай! — откликнулся Иван Иваныч с готовностью, еще пуще хмелея от сознания причастности к великому загадочному племени.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — у тебя есть деньги?

— Есть! — радостно отозвался Иван Иванович.

— Тогда махнем в Дом литераторов...

И они, покачиваясь, покинули мрачный коммунал и поехали на улицу Воровского».

В ЦДЛ-овском ресторане на Воровского, читай — Поварской, Булат оказался впервые. И тут же ему вспомнились посиделки на «шарах» в Калуге, что, впрочем, и понятно — о ресторанной жизни в то время Окуджава имел весьма приблизительное представление.

*В столовку заводскую, в гром ее,
поэзия, неси свое искусство;
здесь нужно откровение твое
не менее, чем мясо и капуста.*

Хотя нет, конечно!

Тут все было совсем по-другому.

Яркий свет, официанты, улыбающиеся женщины, а еще атмосфера причастности к чему-то запретному (на дверях стоял привратник и пропускал только по членским билетам СП СССР), для большинства непостижимому и недоступному.

Окуджава огляделся.

За дальним столиком один в клубах папиросного дыма за густой пеленой бессвязных и громких речей захмелевших посетителей сидел Михаил Светлов.

Перед ним стояла наполовину пустая бутылка дорогого армянского коньяка, он задумчиво курил и совершенно отрешенно что-то записывал в блокнот с оттиснутым на нем заводским способом стилизованным инскриптом — «Литфонд СССР».

На глазах у Светлова стояли слезы.

Потом Михаил Аркадьевич отыграет этот (или подобный ему) эпизод следующим образом:

— *Вот написал удачные стихи, жаль только, что их напечатать нельзя!*

— *Ну почему же нельзя, — звучит в ответ, — очень хорошие стихи, обязательно напечататаем!*

— *Вот! всю жизнь мечтал написать стихи, которые нельзя напечатать! И опять не получилось! — на глазах у Светлова выступили слезы.*

Булат посмотрел в другую сторону.

За соседним столиком расположился Семен Кирсанов, у

которого только что в Госиздате вышли двухтомное собрание сочинений, а также поэма «Вершина» в «Советском писателе». С ним оживленно беседовал Евгений Евтушенко, которому Кирсанов — ученик Маяковского — недавно великодушно дал рекомендацию в Союз писателей, назвав, правда, при этом стихи Евгения Александровича плохими.

Булат изумленно слушал барственные рассуждения Семена Исааковича о необходимости соорудить в ресторане ЦДЛ громадный камин, чтобы в нем можно было жарить целого оленя. Евтушенко же при этом, активно жестикулируя, приглашал всех желающих прямо сейчас «рвануть» с ним в Сухуми, потому что у него образовались «лишние» пятнадцать тысяч рублей. При этом рядом с Евгением Александровичем сидела и загадочно улыбалась некая очаровательная молодая особа.

Видимо, поклонница его творчества.

Окуджава просто не мог поверить в то, что все происходящее с ним здесь и сейчас есть не сон, но явь, полная и абсолютная реальность (отчасти, конечно, овеянная алкогольными парами), и он стоит на пороге совершенно нового мира, о котором еще совсем недавно можно было только мечтать как о чем-то непостижимом, несбыточном и недостижимом.

Но ведь в его жизни уже была эта доступная лишь немногим заоблачная вершина — счастье детства, вечера в гостиной особняка на улице Восьмого марта в Нижнем Тагиле, кабинет отца, они с матерью слушают радиоприемник «ЭСЧ-2», шкаф с книгами, маленькая комната в бельэтаже, где по ночам втайне от всех он писал роман о китайских коммунистах, новогодняя елка, солнечная Евпатория. А потом — мрак, погружение во тьму Босховских персонажей, в рутину безликой серой невыносимой жизни, выходом из которой было только одно — творчество, поэзия, которые и стали своего рода сублимацией, переосмыслением бытования, что таинственным образом возвращали к детству, то есть поворачивали время вспять.

Но вернемся в ЦДЛ-овский ресторан.

Из рассказа Б.Ш. Окуджавы «Подозрительный инструмент»:

«За столик подсел какой-то писатель со своим фужером и бутербродом на блюдечке.

— Привет, Серега, — сказал он.

— Ах, здравствуй, здравствуй, — обрадованно выдавил Наровчатов. Писатель выпил свой коньяк, пожевал бутерброд, ткнул пальцем в Ивана Ивановича и спросил без интереса:

— А это кто?

— Это Отар Отарыч, — пробубнил Наровчатов, стараясь не выронить из слова ни одной буквы, — мой друг и поэт.

— Отар Отарыч, — усмехнулся писатель, — что-то много развелось нынче Отар Отарычей, а, Серега? Ты не находишь?

— Ну ты, заткнись! — приказал Наровчатов, — у него отца расстреляли в тридцать седьмом!

— Туда и дорога, — засмеялся писатель. Иван Иванович попытался ухватить вилку, чтобы проучить обидчика, но руки не слушались, и он заплакал. В этот момент широкая мясистая ладонь Наровчатова хлестнула по розовой щеке писателя. Кто-то крикнул. Крик подхватили. Дым за клубился пуще. Официантка, широко улыбаясь, пробежала с подносом. Затем все улеглось. Полились прежние монологи за соседними столиками. Только там уже сидели другие писатели, а за их столиком они сидели вдвоем: одуревший Иван Иванович и спящий Наровчатов. Как они расплатились, Иван Иванович уже не помнил».

Огромный саратовский мужик, проводивший детство с матерью в Магадане, куда был сослан его отец, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, военкор — Булат смотрел на Наровчатова и думал, откуда в этом человеке, на первый взгляд, скорее, походившем на директора завода или председателя колхоза, была эта удивительная лирическая интонация, делавшая его абсолютно беззащитным, точнее сказать, придававшая его внешней физической мощи драматическую расслабленность, даже беспомощность, когда всякое усилие становилось результатом чрезвычайного напряжения недюжинного поэтического дарования.

*На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.*

*Со всех сторон я слышал ровный шорох,
Угрюмый шум забвений и утрат.
И было им, как мне, давно за сорок,
И был я им давным-давно не рад...*

Эти строки Наровчатова были неким проблеском, неожиданно вырвавшейся на поверхность предельно точной поэтической формулировкой, за которой стояли грусть и одиночество, сердечные переживания и болезнь (Сергей Сергеевич был болен диабетом), прятать от посторонних глаз которые было возможно лишь в ресторанных загулах на

Поварской.

С годами это постоянное внутреннее борение сломает его, просто не останется сил на то, чтобы извлекать из себя жизнь, а не должность, и он изменится, станет совсем другим — секретарем правления СП СССР, главным редактором «Нового мира», получит звание Героя Социалистического Труда. Наровчатов скоростижно уйдет из жизни от гангрены ног в Коктебеле в возрасте 61 года.

Летом 1956 года Окуджава с женой Галиной и сыном Игорем перебрались из Калуги в Москву, к матери на Краснопресненскую набережную.

Гулять с ребенком ходили в сквер имени Павлика Морозова, что на Пресне, здесь же, в бывшей церкви Николая на Трех горах, находился одноименный дом пионеров (по преданию, именно в этом храме несколько лет спустя поставят изваяние пионера-героя работы одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Александровича Пригова).

Совместное проживание в двухкомнатной квартире молодой семьи с двухлетним ребенком и пожилой женщины, проведеншей в лагерях и на поселении двенадцать лет, обещало стать непростым.

Оно таким и стало...

На своей однокурснице Галине Смольяниновой Окуджава женился в 1947 году.

О том, как складывались отношения матери и сына уже в новом качестве, можно судить лишь из опосредованных источников. Так, находясь на поселении в Красноярском крае, Ашхен Степановна признавалась, что очень переживает из-за ссоры с Булатом. Причина этой размолвки нам не известна доподлинно, но можно предположить, что поводом тому стало неприятие матерью новой семьи сына, и в первую очередь его жены.

С одной стороны, в этом не было ничего удивительного, потому как взаимоотношения между свекровью и невесткой традиционно являются областью интриг, обид и взаимных претензий. Но, с другой стороны, для Булата непонимание (неприятие, осуждение) матерью его выбора стало полной неожиданностью, потрясением, ведь он всегда доверял ей безгранично и был совершенно уверен в том, что Ашхен понимает его, может быть, даже лучше, чем он сам себя.

Однако все вышло совсем по-другому.

Конечно, Булат не мог не понимать, что возникновение своей семьи, рождение ребенка потребуют от него сделать выбор, который предполагает радикально поменять жизненные

ориентир, установить новые приоритеты, среди которых места Ашхен Степановне не находилось. И это было для Окуджавы чрезвычайно мучительно.

Да, его постоянно преследовало это хорошо ему знакомое состояние раздвоенности, от которого невозможно было избавиться, которое настойчиво требовало от него преодолеть эту дилемму, сломать себя, сделать шаг вперед, однако он прекрасно помнил, что произошло с его отцом, который всегда шагал впереди.

Арест матери в феврале 1949 года, увы, добавил этому конфликту лишь невысказанности, переведя его в фазу хронического заболевания.

Попытка все-таки разрубить этот Гордиев узел и объединиться с матерью летом 1956 года в ее двухкомнатной квартире успеха не имела — ужиться вместе две женщины, каждая из которых по-своему обожала Булата, так и не смогли. Пришлось переехать на Комсомольский проспект на съемную квартиру, при том, что почти каждый день сын навещал свою Ашхен.

Может быть, тогда Булат впервые понял, что выборов может быть два, три, а то и больше.

Переезд в Москву совпал (или стал следствием?) с началом работы Булата в издательстве «Молодая гвардия» в редакции комсомольской литературы.

Надо думать, не без протекции Наровчатова.

Хотя известна версия, согласно которой в редакцию Булата привел молодой, подающий надежды критик Станислав Рассадин.

Лазарь Ильич Шиндель — литературовед, впоследствии художественный редактор ряда картин Андрея Тарковского, вспоминал: «Он (Окуджава) производил приятное впечатление: сдержанный, немногословный, с грустными глазами и неожиданной быстрой улыбкой. Выяснилось, что мы одногодки, он тоже фронтовик, хотя ни малейших следов армейской бывалости не обнаруживал»

Затем Окуджава перешел в редакцию поэзии народов СССР, что позволило ему значительно расширить круг своих литературных знакомств.

Следует заметить, что поэтические переводы по подстрочнику были одним из наиболее прибыльных заработков советских литераторов. В этой области работали такие гиганты, как Борис Пастернак и Арсений Тарковский, великолепно переводившие на русский язык сочинения грузинских, армянских, казахских и азербайджанских поэтов.

За помощью к Булату обращались как стихотворцы из

союзных республик, так и маститые переводчики. По рассказам современников, Окуджаву, занимавший в «Молодой гвардии» достаточно высокий пост, всегда шел навстречу творцам, умело балансируя между требованиями издательства и амбициями поэтов, оставаясь при этом в хороших отношениях как с первыми, так и со вторыми.

В 1959 году у Окуджавы в издательстве «Советский писатель» выходит вторая книга стихов «Острова», тогда же он становится заведующим отдела поэзии в «Литературной газете» — органе правления Союза писателей СССР.

Булат Шалвович вспоминал: «Я один сидел, маленькая комнатка у меня была, заваленная рукописями графоманов в громадном количестве. Но тогда я уже интенсивно писал стихи и песни, очень интенсивно. И от меня требовалось иногда — время от времени — в «Литературку» давать чьи-то стихи. Ну, когда приходили известные авторы, я брал их и отдавал в редколлегию, и они уже шли. Так что задача моя была — борьба с графоманами... Там мне было очень хорошо: во-первых, коллектив был прекрасный, ко мне очень хорошо относились, очень меня ценили за то, что я делал...»

Факт интересный сам по себе, особенно если знать, что главным редактором «Литературки» к моменту прихода туда Булата был Всеволод Анисимович Кочетов — прозаик, журналист, член Центральной ревизионной Комиссии КПСС, человек, которого в определенных кругах иначе как «сталинским мракобесом» и антисемитом не называли.

В «Литгазету» он пришел с должности ответсека правления Ленинградского отделения СП СССР, откуда после громкого скандала (конфликт не только с Верой Пановой и Верой Кетлинской, но и со всем литературным Ленинградом) был срочно эвакуирован в Москву. Здесь Всеволод Анисимович продолжил свою «жесткую» линию, допуская при этом порой весьма парадоксальные в своей неожиданности поступки, например, он мог лично материально помочь нуждающемуся писателю, поддерживал начинавшего в ту пору Василия Шукшина. Скорее всего, Окуджаву попал именно в этот поток внезапных Кочетовских благодеяний.

После ухода Всеволода Анисимовича из газеты в журнал «Октябрь» место главного редактора занял писатель, историк, кавалер двух орденов Красной Звезды, активный участник травли Бориса Пастернака, а в будущем — автор культового романа «Брестская крепость», Сергей Сергеевич Смирнов.

Персонаж, безусловно, много менее одиозный, нежели его предшественник, но не менее ортодоксальный в своем видении

того, чем на самом деле должны заниматься советская литература в целом и советский писатель в частности.

Интересно заметить, что Булат, оказавшись в стопроцентно советском, совершенно заидеологизированном коллективе, почувствовал себя в нем в высшей степени комфортно, о чем мы уже прочитали в его воспоминаниях выше. Свои должностные обязанности он выполнял четко и прилежно, стараясь избегать конфликтов как с руководством, так и с творцами. Впрочем, и об этой способности Окуджавы мы уже говорили, повествуя о его работе в «Молодой гвардии».

Умение обходить «острые углы», но оставаться при этом человеком принципиальным и верным друзьям — качество достаточно редкое, особенно для литературного чиновника. А Булат был им, вполне возможно, что и тяготясь своей должностью, но в то же время признавая ее статусность и полезность для реализации мечты всей своей жизни — стать профессиональным писателем.

В небольшую редакционную комнату Окуджавы на Цветном бульваре, заставленную шкафами с рукописями, приходиться с пустыми руками было не принято. Путь сюда, что и понятно, пролегал через Центральный рынок, потому как чтение и обсуждение стихов, как правило, заканчивались дружескими посиделками. И тогда Булат снимал с одного из шкафов простенькую Шиховскую гитару и под одобряющий гомон собравшихся начинал ее настраивать.

А ведь это получилось как-то само собой, естественным образом, когда звучащий в голове мотив оказался соразмерен слову, которое захотелось не прочитать, а именно пропеть.

Спустя годы Булат Шалвович скажет: «Гитара — инструмент аккомпанирующий, поэтому достаточно нескольких аккордов, а вот голос создает мелодию, там все тонкости».

*На Сретенке ночной Надежды голос слышен,
он слаб и одинок, но сладок и возвышен...*

Одинокий голос человека звучит над Плющихой и Ордынкой, над Яузой и Таганкой.

Всякий раз, возвращаясь от матери домой с Краснопресненской набережной, Булат шел через Арбат. Хотя в начале 60-х здесь началась стройка и с каждым разом маршрут сжимался, как шагреновая кожа, исчезали знакомые с детства проходные дворы, сносились дома, да и трамвай тут уже давно не

ходил.

Место все более и более становилось чужим.

Читаем у Булата Окуджавы: «Когда мне исполнилось пять лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я шел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие. И уже другие вагоны сновали вокруг так, что дух захватывало... Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия... А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования».

Все это существовало отныне лишь в воображении как музыка, которая переполняла, и тогда можно было зайти в пустой двор-колодец или подъезд и, чтобы никто не услышал, напеть ее, потому что в противном случае она забудется, будучи неминуемо вытесненной другой мелодией.

И так до бесконечности.

Впервые гитару в руки Булат взял в 22 года.

Окуджава вспоминал: «Я был студентом, я женился, и мой тесть — военный — умел играть на мандолине «Светит месяц» и еще знал три аккорда на гитаре. Этим трем аккордам он меня и выучил. Вот мы и играли с ним «Светит месяц» — он на мандолине, я на гитаре».

Нельзя сказать, чтобы инструмент сразу «прирос к рукам», да и не было после войны у гитары особой популярности, ибо более почиталась она (гитара) инструментом мещанским, на котором «бренчали» в подворотнях блатные или цыгане в ресторанах.

Но, пишет Окуджава, «...Я стал ею пользоваться, потому что мне нравился гитарный звук, и потому что она была удобная, и потому что я, не умеющий играть, вдруг на ней смог с помощью трех аккордов что-то такое... Музыка меня переполняла».

Стихи каким-то необъяснимым образом сливались с гитарными переборами, словно изначально были предназначены друг для друга.

Итак, Булат настраивает гитару.

Из воспоминаний Галины Корниловой, редактора отдела литературы «Литгазеты»: «Постоянными авторами и чуть ли не ежедневными гостями газеты были Владимир Максимов, Лев Кривенко, Борис Балтер. Из Петербурга наезжали ставшие друзьями газеты Борис Вахтин и поэт Александр Кушнер... Сразу после окончания рабочего дня мы битком набивались в кабинет заведующего отделом поэзии — узкую и длинную комнату с

одним окном, диваном и письменным столом. Рядом с дверью возвышался шкаф, набитый рукописями поэтов, а наверху шкафа, невидимая для тех, кто входил в комнату, лежала гитара. В этом же шкафу Булат позже прятал рукописные страницы своей прозаической книги «Будь здоров, школяр». Однажды прямо в редакции Булат и его друг Серго Ломинадзе сочинили песенку «Девочка плачет: шарик улетел...». И с этого дня ее распевали редакторы всех отделов, ее можно было услышать и в нашей столовой, и в редакционной библиотеке».

На подоконнике у распахнутого окна сидит Максимов и задумчиво курит. А еще он может курить мрачно, и тогда конфликта не избежать. Об этом знают все, кто сейчас собрался в кабинете заведомо поэзии, но Максимов, следует повториться, задумчив, видимо, в предвкушении песен Булата, да и выпито пока еще мало.

В. Войнович: «В другом несветлом углу комнаты за большой пишущей машинкой горбился молодой человек с красным мрачным лицом. Одним пальцем он выстукивал на машинке какой-то текст, и по ярости, с какой он это проделывал, было видно, как он ненавидит то, что описывает. Вдруг он с грохотом отодвинул стул и забегал по комнате, размахивая правой рукой и говоря неизвестно кому:

— Позвольте, господа, вы утверждаете, что я очерняю действительность. А вы давно были в провинции? А вы пили спотыкач в пристанционном ларьке? А вы видели, как работают женщины на лесоповале? Я всего этого насмотрелся...

Молодой человек сунул мне руку и, кося глазом в сторону, буркнул сквозь губы:

— Мсимов.

— Кто? — переспросил я.

— Володя Максимов...

Рука у него была покалечена, пальцы собраны в щепоть, как складывают их таджики, когда едят плов».

Наконец настройка инструмента закончена, и Булат берет первые аккорды:

Ах, какие удивительные ночи!

Только мама моя в грусти и тревоге:

*— Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий,
одинокий? —*

Из конца в конец апреля путь держу я.

*Стали звезды и круглее, и добрее...
— Мама, мама, это я дежурю,
я — дежурный
по апрелю!*

В редакционной комнате на Цветном бульваре наступает тишина.

Вот, например, если спросить сейчас, почему пальцы зажимают струны в той или иной последовательности, ведь и не ответишь толком.

Это раньше тесть, отец Гали, говорил «Делай, как я» и показывал аккорды.

Приходилось, раздирая пальцы в кровь о железные струны, бесконечно повторять в тональности ля минор — Am, Dm, E и в тональности ми минор — Em, Am.

По ночам снилась эта муштра.

А еще постоянно думал о пальцах, смотрел на них со страхом, как сейчас на изуродованный мизинец правой руки Володи Максимова, который он инстинктивно поджимал к ладони.

Курил, посматривал в окно.

Максимов редко рассказывал о том, как загремел по малолетке в колонию, был в бегах, потом сел по уголовке, но если и рассказывал, как правило, уже будучи в крепком подпитии, то рассказы его были страшны, да и сам он становился страшен.

Из «Автобиографического этюда» В.Е. Максимова: «Родился в Москве, в семье рабочего салицилового завода, в Сокольниках...

До ухода из дома успел закончить четыре класса 393-1 московской общеобразовательной школы. Бродячая юность несколько раз прерывалась краткосрочными «остановками» в детприемниках (Славянск, Батуми, Кутаиси, Тбилиси, Ашхабад, Ташкент) и колониях (Кутаиси, Ашхабад, Ташкент, Шексна), откуда, как правило, благополучно (кроме Шексны), бежал. Из горького опыта пребывания в детских исправительных учреждениях, унифицированных по системе Макаренко, вынес твердое убеждение: всякая, даже самая заманчивая система, оказываясь в руках фанатичных апологетов, становится орудием преступления. Ничего более жуткого ни до, ни после мне уже переживать не приходилось, хотя впоследствии жизнь не баловала меня райскими кущами. Шестнадцати лет от роду получил семь лет и после недолгого ожидания в Таганской тюрьме отправлен по этапу в Шекснинскую трудовую колонию, из

которой вскоре пытался бежать, но был схвачен, а затем, в бессознательном уже состоянии, передан на экспертизу в Вологодскую областную психиатрическую больницу, признан здесь невменяемым и сактирован (списан по состоянию здоровья), как говорится, вчистую...

Крайняя семейная нищета, обусловленная ежедневной борьбой за существование, не располагала к сердечной доверительности, и наверное поэтому сколько-нибудь прочной душевной близости с матерью у меня так и не возникло (*отец В.Е. Максимова был репрессирован в 1933 году, в 1939 освобожден, погиб на фронте в 1941 году*)... Наибольшее влияние на мое формирование оказал дед по материнской линии, потомственный железнодорожник Савелий Ануфриевич Михеев, с которым я провел значительную часть детства.

Булат закачивает петь «Дежурного по апрелю», и тут же звучат просьбы исполнить «Неистов и упрям», «Последний троллейбус». Конечно, соглашается, и импровизированный концерт продолжается.

Впоследствии Окуджава скажет: «Я работал в «Литературной газете». У меня уже были первые песенки и первая широкая известность в узком кругу. Это очень вдохновляло меня. Я очень старался понравиться именно им, моим литературным друзьям».

Однако иногда приключались и курьезы.

Однажды Булат был приглашен на день рождения одного известного литработника, куда он отправился, разумеется, с гитарой, а также в обществе своего друга Владимира Максимова.

Пришли на Плющиху.

Читаем в «Автобиографических анекдотах» Б.Ш. Окуджавы: «Гостей было уже с избытком... мы вошли в комнату и начали рассаживаться за уже накрытым столом. Слышался обычный возбужденный галдеж, затем в него вмешался плеск разливаемого в бокалы вина, затем прозвучал тост в честь пунцового именинника... И звон стекла, и крикание, и вздохи — и вдруг тишина и сосредоточенное поедание праздничных прелестей, и восторженные восклицания, и, в общем, как обычно, удовлетворенное журчание голосов, этаким ручеек, постепенно, от тоста к тосту, превращающийся в мощный поток.

Я понимал, что, по уже установившейся традиции, предстоит петь. Меня это в те годы радовало. Я начал привыкать к интересу, который проявляли к моим песням мои друзья. Рядом двигался хмурый Максимов. Пока мы сидели за столом, я, зная о его пристрастии к спиртному, подумал, что наступил этот час и потому он так мрачен. Но оказалось, что он трезв, трезвее меня и всех остальных, и это было непонятно.

В тесной комнате кто сидел, кто стоял. Мне подали гитару. Все замерли. Я чувствовал себя приподнято, хотя, конечно, и волновался: очень хотел угодить слушателям.

— Что же мне вам спеть? — спросил я, перебирая струны, — что-то сразу и не соображу...

“Когда мне невмочь пересилить беду...” — запел я. Максимов опустил голову. Я пел и попутно обмозговывал свой небогатый репертуар... И вдруг из дальнего угла крикнули требовательно:

— Веселую давай!.. “Цыганочку”!..

— “Цыганочку”!.. — загудели гости, и кто-то затянул «Ехал на ярмарку ухарь-купец...».

Я не понимал, что происходит. Стоял, обнимая гитару. Тут ко мне подскочил Максимов, дернул меня за руку и прошипел:

— Пошли отсюда!..

Мы вышли из квартиры. Ноги у меня были деревянные. Голова гудела...

— Я не хотел тебе говорить, — сказал, кипя, Максимов уже на ночной улице, — когда мы пришли, там, на столике в прихожей, лежал список гостей, и возле твоей фамилии было написано — “гитарист”!»

Конечно, Булат хорошо помнил таких «гитаристов».

Они собирались на задах Киевского вокзала и брнчали что-то типа:

*В Одессе, Ростове, Самаре
Фартовых знакомых имел,
И часто меня вспоминали,
Пока я на нарах сидел...*

Блатная романтика, лагерная жизнь — обо всем об этом Максимов знал не понаслышке, и все это было ему глубоко ненавистно, потому как он знал им настоящую цену, видел лицемерие, фальшь и продажность уголовной вольницы изнутри.

А ведь в годы юности Булата влекли эти «сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, челочка и фикса золотая». Скорее всего, из чувства противоречия, из подсознательного желания именно таким образом вписаться в новую для него Арбатскую жизнь, стать своим для тех, кому своим он не будет никогда в принципе.

Дружба Максимова и Окуджавы, на первый взгляд, была совершенно необъяснима: интеллигентный, сдержанный Булат Шалвович и громогласный, неуравновешенный, тяжело и мрачно

пьющий Владимир Емельянович (а на самом деле — Лев Алексеевич Самсонов).

Взаимное притяжение, видимо, выросло из какой-то прежней жизни, из детства, когда каждому из них не хватало в себе того, что было в избытке в друге. Ведь было же в Максимове что-то от Арбатской шпаны, игры в пристенок, от Нижнетагильских работяг и простреленного по неосторожности второгодника Дергачева, какая-то мужественность, безоглядность и бесшабашность, которым можно было только завидовать.

С другой стороны, в Окуджаве Максимов видел взвешенную мудрость и поразительное умение скрывать бурлящие внутри страсти в каких-то неведомых тайниках души, чего он категорически делать не умел и от чего страдал. Будучи образованцем, он тянулся к Булату как к старшему товарищу, как к человеку с университетским образованием, как к поэту, интуитивно шедшему по своему пути в литературе, что не могло не вызывать уважения.

После той глупой истории с «Цыганочкой» друзья еще долго бродили по Москве, разговаривали о литературе, поэзии, впрочем, Максимов все никак не мог успокоиться, возмущался, а Булат его успокаивал.

Где-то в районе Неглинной забрели в кафе «Отдых».

На входе швейцар предупредил, что заведение скоро закрывается, но Максимов мрачно сообщил, что ему нужно выпить, и стало ясно, что его лучше впустить. Взяли водки и какую-то приблизительную закуску. За соседним столиком супружеская пара выясняла отношения, причем делала это как-то вяло и безынициативно, было видно, что участники спора не заинтересованы в его разрешении, а препираются лишь по многолетней привычке. В противоположном конце зала, у окна, выходящего на Архитектурный институт, одиноко сидел старик в пальто и пил чай.

Лицо старика показалось Булату знакомым.

А потом Володя попросил Окуджаву спеть.

В «Отдыхе» замерли все — швейцар на входе, извивающийся азиатской наружности официант, супруги за соседним столом перестали ругаться, разве что старик в пальто продолжал пить свой чай, так и не посмотрев в сторону исполнителя.

Спустя несколько дней в редакции Булат встретил «пунцового именинника» с Плющихи, который рассыпался в извинениях за происшедший у него на дне рождения казус и пригласил Окуджаву в Шереметьевку — дачный поселок «Литгазеты».

Литературный критик, писатель Бенедикт Сарнов: «Казенная шереметьевская дача была по тем временам и тогдашним нашим

представлениям вполне комфортабельной. Это был небольшой трехкомнатный коттедж с нормальной кухней, с паровым отоплением (в подвале был котел, который я приспособился — и даже полюбил — топить. Топился он — вперемежку — дровами и углем: дрова шли на растопку, а потом засыпался уголь)... В этом поселке было, наверное, пятнадцать или двадцать таких дач. Зимой они почти все пустовали. А на летние месяцы их распределяли между штатными сотрудниками «Литературки»... Здесь — в Шереметьевке, в этом поселке «Литгазеты» — сразу сбилась у нас своя компания... Душой компании, естественно, стал Булат.

Вообще-то он мало был приспособлен для этой роли. Коллективных игр (да и вообще коллектива) не любил. Был нелюдим, даже замкнут. Но стоило ему взять в руки гитару...

Первые, самые ранние свои песни Булат спел нам здесь, в Шереметьевке. И все мы (а были мы очень и очень разные) сразу и навсегда в них влюбились».

Редактор отдела литературы Галина Корнилова: «Там же, в Шереметьевке, у Булата появилось новое увлечение: из корней молодых елочек он делал необычайно выразительные скульптуры. Одна из таких скульптур, «Музыкант», превратилась потом в песню «Чудесный вальс». Целая полка в его комнате была заставлена этими скульптурами, часть которых он дарил друзьям. У меня долго хранились его деревянные «Влюбленные», пропавшие потом при переезде.

Уже к концу лета я заметила на террасе соседней дачи незнакомую темноволосую женщину с красивым печальным лицом. То была мать Булата, не так давно вернувшаяся из ссылки. На ее красивом замкнутом лице лежала тень пережитой ею трагедии».

В восьмидесятых такие домашние выступления для своих получают названия «квартирников» и станут весьма популярными в среде музыкантов и поэтов, путь которым на большую сцену и в государственные издательства был заказан.

В шестидесятых первооткрывателем подобного параллельного официальному искусству направления стал Окуджава, вероятно, и сам того не желая. Тут все сложилось естественным образом, органично, как складывались песни Булата, когда стихи каким-то необъяснимым образом сливались с гитарными переборами, словно они изначально были предназначены друг для друга.

Глава 5

По пятиминутной готовности пилотируемого космического корабля «Восток 5» выяснилось, что на третьей ступени отказал гироскоп. Замена прибора на заправленной ракете с сидящим внутри космонавтом, — случай экстраординарный. Однако выхода не было — либо откладывать пуск на сутки, либо рисковать.

После совещания с Королевым приняли решение рисковать.

Эта операция потребовала от космонавта Валерия Быковского дополнительного (к двум часам подготовки) трехчасового пребывания на Земле в закрытом корабле.

По воспоминаниям очевидцев, чтобы хоть как-то скрасить пятичасовое предстартовое ожидание космонавта в замкнутом пространстве, Валерию Федоровичу поставили музыку, и в наушниках зазвучало:

*Музыкант в лесу под деревом
наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс
то ласково, то страстно.*

*Что касается меня,
то я опять гляжу на вас,
а вы смотрите на него,
а он смотрит в пространство.*

О том, каким образом катушка с этой записью оказалась в Тюратаме (более известном как космодром «Байконур») в 1963 году, можно только догадываться. Офицеры-ракетчики, выпускники Московской академии РВСН имени Ф.Э. Дзержинского (ныне Военная академия РВСН имени Петра Великого), прибывали к месту службы, часто имея среди личных вещей входившие в начале шестидесятых годов в моду катушечные магнитофоны, ну и комплект бобин, как чистых, так и уже записанных впридачу.

Как правило, ночью после дежурства собирались в Ленинской комнате, потому что тут стоял приемник «Фестиваль». Включали этот напоминавший универмаг «Москва» на Ленинском проспекте агрегат, что тут же начинал переливаться огнями настройки,

издавать утробные звуки и мигать оптическим индикатором, который в народе называли «магическим глазом».

На коротких волнах «ловили» в первую очередь старину Элвиса Пресли, Фрэнка Синатру, Далиду и Пола Анка. Сюда же, в Ленинскую комнату (куда же еще?) приносили магнитофон, например, «Комета» или «Чайка», чтобы записывать звучание прямо с эфира.

Тщательно орудовали с настройками, следили за «магическим глазом» и замирали полностью, почти не дышали, чтобы не создать помех для записи.

И это уже потом копировали катушки (они же бабины), до дыр заслушивая «Люби меня нежно», «Тюремный рок», «Vambino», «Время цветов» и почему-то «Девушку из Нагасаки» на стихи Веры Инбер.

Однако был в этом ряду еще один исполнитель, записать которого с радио, разумеется, было невозможно (потому что он не звучал в эфире), и катушки с его песнями, записанные на «квартирниках», привозили на космодром после отпусков и командировок из Москвы и Ленинграда.

Исполнителя звали Булат Окуджава.

Среди офицеров-ракетчиков это было чем-то вроде соревнования, поэтического турнира, что ли — кто знает наизусть больше стихов Булата, а так как мелодии его песен были несложными, то в зачет шло и исполнение стихов под гитару.

Засиживались допозна.

Читали журнал «Юность».

Ездили в Кызылорду на рынок.

Играли в футбол.

Несли боевое дежурство.

Бурно отмечали День космонавтики.

Пели под гитару, как было замечено выше.

Встречали высоких гостей из соцстран преимущественно.

Проводили политинформации.

Слушали записи Окуджавы, о котором, казалось, в начале шестидесятых уже знала вся страна и песни которого пела.

Аккуратно вставляли пленку в магнитофон, нажимали кнопку «пуск», и в комнату офицерского общежития тут же входил невысокого роста, с тонкого сложения человек с гитарой, присаживался на край по уставу заправленной кровати и словно бы начинал неспешно рассказывать истории.

Например, такие.

История первая, о Ваньке Морозове, который любил бывать в старом цирке. Уж больно ему нравились фокусники и жонглеры, укротители тигров и наездники, силачи и гимнасты. Но однажды

он увидел циркачку, которая ходила по проволоке и махала своей бледной тонкой рукой. Ванька был уверен в том, что она машет рукой именно ему, и без памяти влюбился в нее. Каждый день он ждал свою циркачку после выступления, катал ее на извозчике, водил в ресторан. Но однажды он увидел, как она выходила из гримерки с каким-то господином, и по тому взгляду, каким она смотрела на этого господина, Морозову стало ясно, что она изменила ему. И стало Ваньке невыносимо обидно и больно, потому что ради циркачки он отверг любовь Маруси, которая по нему уже давно сохла.

История вторая, о красивом и отважном солдате, который хотел переделать мир, был благороден и отважен, но погиб ни за грош, шагнув в огонь и сгорев в нем, потому как был детской сделанной из бумаги игрушкой.

История третья, о том, как музыканты уходили на войну и на смену тромбонам, кларнетам и саксофонам приходили автоматы, которые бились на груди и били в грудь. А потом все они, московские джазисты в «костюмах предвоенного шитья» лежали на земле, имена их, увы, были забыты, и лишь танцующая на эстраде в Сокольниках майским вечером сорок пятого года пара напоминала о них.

Историй у этого человека с гитарой было много, и офицеры-ракетчики слышали их не в первый раз, но всегда, когда спокойный, немного меланхолический голос рассказчика приступал к своему неспешному повествованию, то приходило понимание того, что слушать «Дежурного по апрелю» и «Грузинскую песню», «Арбатский романс» и «Наденьку», «Ваше благородие» и «Молитву» можно до бесконечности, ведь это был рассказ, обращенный лично к каждому, рассказ о чем-то таком сокровенном, в чем порой и самому себе-то признаться непросто.

Когда бабина заканчивалась, ее ставили на перемотку и запускали заново.

Хотя со временем появились и двухсторонние бабины, которые следовало только переворачивать, менять местами, и звучание тихого, задучивого голоса продолжалось.

А потом сами брали в руки гитару.

Хотелось, чтобы получалось так же, как у рассказчика, с которым, конечно, не были знакомы лично, который никогда не бывал на Байконуре, но который при этом был любим всеми и частенько вечерами по-товарищески захаживал в офицерское общежитие с гитарой наперевес, чтобы показать новую песню, вспомнить старую или просто поделиться посетившим его четверостишием.

Из воспоминаний Наума Коржавина: «Сели, он разлил по

рюмкам коньяк, мы долго разговаривали — тогда было о чем поговорить. Потом он предложил: “Хочешь, я тебе почитаю?” И прочел стихи. Я ему сказал: “Понимаешь, Булат, эти стихи очень талантливы — ты знаешь, что я этим словом не разбрасываюсь. Но мне чего-то не хватает, какого-то последнего общения, что ли...” Булат выслушал это, промолчал (но, как я потом понял, оперировать абстрактными понятиями не любил). Опять выпили, поговорили. И тут через некоторое время он опять предложил: «Хочешь, я тебе спою?» Снял со стены гитару и спел. Те стихи, которые раньше читал. Я уже описывал этот эпизод и еще раз повторяю: это не было его реваншем, он не хотел мне что-то доказать, а просто сначала прочел мне свои стихи, потом ему захотелось их спеть. Я был поражен. Только воскликнул: “Булат! Так мне вот этого как раз и не хватало!”»

Это мерцающее, практически неуловимое состояние можно было искать годами, но, найдя, его уже невозможно потерять, потому как оно и было частью того, что называется нервом поэзии, причем не только и не столько зарифмованных слов, но отношения к жизни в целом.

Спустя годы Владимир Высоцкий скажет: «Я когда-то давно услышал во время съемок в Ленинграде, по-моему... как Булат Окуджава поет свои стихи. И меня тогда поразило. Я писал стихи, как всякие люди молодые пишут стихи, и я подумал, насколько сильнее воздействие его стихов на слушателей, когда он это делает... с гитарой. То есть, когда кладет их на какую-то ритмическую музыкальную основу и исполняет. И я подумал, что, может быть, попробовать делать то же самое».

На рубеже 1950–1960-х годов голос Окуджавы уже жил отдельно от автора. На домашние выступления, на концерты в ДК и библиотеках поклонники Булата приносили по несколько магнитофонов, «писали» импровизированные выступления целиком и без «чистового» монтажа (просто тогда такой техники в бытовом обиходе не существовало), изготавливали сразу по несколько копий, которые распространялись по проверенным каналам.

Это было ритуалом и магией одновременно, когда голос начинал звучать из магнитофонного динамика, обтянутого вылинявшей желтой радиотканью и забранного целлулоидной решеткой, которая напоминала решетку радиодора 21-й «Волги» с оленем.

Однако визуально звучание голоса Окуджавы было абсолютно невозможно соотнести с вращающимися бабинами, потому как полностью приходили в противоречие интонация и ритм, содержание и работа электромотора, мелодия и

неостановимый бег счетчика метража магнитой ленты. В этом и была коллизия, загадка, если угодно, звучащего голосом Булата ящика, который, по логике, должен был выдавать Миансарову или Кристалинскую, Бернеса или Трошина, Пресли или Эдит Пиаф.

Как это часто бывает, технический прогресс неизбежно породил магнитофонную контркультуру (в том числе), ставшую следствием неистребимого желания как исполнителя, так и слушателя осуществить свободное, ничем и никем не цензурируемое высказывание — глубоко личное или провокативное, непонятное для большинства или, напротив, нарочито популярное, наболевшее, но в силу тех или иных причин запрещенное и подконтрольное.

Искусствовед, архивист, писатель Лев Шилов следующим образом описал время так называемого «магнитофонного бума», одной из ключевых фигур которого и стал Булат Окуджава.

«Это было в один из дней осени 1962 года.

Уже из трамвая я увидел густую толпу, милицию перед входом и понял, что попасть на этот поэтический вечер без билета будет непросто. Билета у меня не было, но был огромный, тяжелый магнитофон «Днепр-3». Подняв его на плечи и выкрикивая что-то вроде «Пропустите технику!», я ринулся в самую гущу. И меня... пропустили. Другие (не такие нахальные) любители поэзии посторонились, а милиционеры мне даже помогли.

Так мне удалось не только попасть на этот замечательный, необычный вечер, но и записать на магнитофон выступления любимых поэтов: Ахмадулиной, Окуджавы, Слуцкого, Евтушенко, Вознесенского. Уже из перечня имен ясно, почему я называю этот вечер замечательным...

А необычность его состояла в том, что это был один из вечеров, который снимала киногруппа Марлена Хуциева для кинофильма «Застава Ильича».

Зал был, конечно, переполнен, стояли во всех проходах, сидели на ступеньках, на краю эстрады... Публика — студенческая и рабочая молодежь — с восторгом и благодарностью внимала своим кумирам, легко понимала намеки, охотно сопереживала лирическим откровениям выступающих...

Впервые я услышал Булата у Левы Аннинского... хозяин хвастается своими новыми записями и новым магнитофоном — это еще редкость по тем временам. Он говорит, что собирает студенческий фольклор и что появилась совершенно изумительная шансонье — Ада Якушева. Мы слушаем Якушеву, а

потом Аннинский ставит на магнитофон еще одну пленку.

И это что-то совершенно необычное и замечательное!

Помню очень острое и сильное первое впечатление от одновременно непривычных и почти родных каких-то мелодий — странная смесь нового и как бы знакомого.

Кто это такой?

Аннинский говорит: Окуджава.

Довольно скоро у меня в музее Маяковского уже крутятся эти записи — на магнитофоне «Яуза-1», переписанные, может быть, у того же Аннинского.

А еще через какое-то время я уже сам в первый раз записывал Булата Окуджаву...

Булат, например, рассказывал о том, как он не мог пробиться на свой вечер в библиотеку около метро «Сокол» (такая огромная толпа теснилась у входа!) в 1962 году.

3 сентября 1960 года. Одесская газета «Черноморская коммуна» сообщает, что в ее редакции состоялся вечер звукозаписи, на котором прозвучали голоса Маяковского, Есенина, Багрицкого, Симонова, Окуджавы.

Это о моем (прошу извинить за нескромность) «вечере звукозаписи». И тут же помещена (еще раз прошу прощения!) моя фотография перед магнитофоном, на который я ставлю бобину с записями Окуджавы.

Мне кажется важным привести эту дату, эту газетную вырезку как доказательство того, что песни Булата тогда уже вошли в широкий культурный обиход.

В 1960 году была сделана и первая профессиональная запись в Радиодоме на Пятницкой. Сделана она была, конечно, не для эфира, а «для себя», для сотрудников молодежной редакции».

Оказаться на вершине неофициальной популярности, являясь при этом членом СП СССР (с 1962 года), публикуясь в советских издательствах, а также взаимодействуя с ответственными литработниками как в приватной, так и в рабочей обстановке, стало, надо думать, для Булата Шалвовича неожиданным поворотом и, соответственно, неожиданным испытанием.

Однако об умении Окуджавы находить общий язык с людьми из разных «лагерей» и действовать по обстановке мы уже говорили и не раз.

Думается, что во многом на формирование этого качества (помимо драматических событий в семье) оказала влияние война, чем более времени после которой проходило, тем глубже и пронзительней становились воспоминания о ней.

Попыткой переосмысления событий, произошедших почти двадцать лет назад (на тот момент) стала написанная Булатом

Шалвовичем в 1960–1961 годах повесть «Будь здоров, школяр».

Вновь и вновь перед глазами вставал тот бортовой грузовик, на котором их, призывников, в августе 1942 года перебрасывали с Тбилисского карантина в Кахетию, где дислоцировался 10-й отдельный запасной минометный дивизион.

А потом были построение на плацу, переключка, поход в баню, выдача новой формы, присяга в Тбилисском Доме офицеров, и, наконец, отправка на Северо-Кавказский фронт под Моздок в составе минометной бригады 254-го гвардейского кавалерийского полка.

Из повести Б.Ш. Окуджавы «Будь здоров, школяр»: «В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я!

Мамочка моя милая... жив... Это не меня убили...

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело.... Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели...

— Прямое попадание, — говорит кто-то.

Коля берет меня на плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишься.

Мы сидим и курим...

— “Рама” балуется, — говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злится, — говорит Коля, — вчера небось по этой улице ногами ходил, летяга фашистский...

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется, — говорю я, — больно очень. Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.

— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже... — Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганые ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только голова кружится. И тошнит немного.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дот не бросался. В штыки не ходил. Коля уходит куда-

то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже неинтересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую...

Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться, — слышу я голос комбата.

Какая разница, где устраиваться.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата.

Укладывают на пол. И я засыпаю снова».

Это случилось в декабре 1942 года.

К этому времени советскими войсками уже была завершена Моздок-Малгобекская оборонительная операция, в ходе которой был сорвано наступление Первой танковой армии группы армий «А» и армейской группировки «Руофф», также известной как 17-я армия Вермахта, на Грозный и Баку.

Тогда же шли ожесточенные бои за Моздок, который был освобожден 3 января 1943 года.

После выписки из госпиталя Булата прикомандировали к 124-му Запасному стрелковому полку, а затем его перевели в резерв в 126-ю артиллерийскую бригаду в Степанокерт.

Да, это была совсем другая война, не та, которую показывали в художественных кинофильмах и на кадрах кинохроники. И речь тут даже не шла о романтическом героизме смелых, гордо смотрящих в лицо неприятелю солдат и матросов, партизан и рабочих с агитационных плакатов, разочароваться в котором было немудрено.

Война, на которую рвался 17-летний Булат, оказалась грязной и страшной работой, от выполнения которой зависела твоя жизнь и выполняя которую нужно было четко понимать, зачем ты ее (эту работу) делаешь — защищаешь Родину, получаешь награды и звездочки на погонах, зарабатываешь на жизнь или отбываешь повинность.

Придя добровольцем в воюющую армию, Окуджава ощутил себя ничтожной песчинкой в этом гигантском механизме, которому все его устремления и надежды, мечты и амбиции были абсолютно безразличны, да и в нем самом никто никакой нужды не испытывал, потому что были тысячи и сотни тысяч таких же, как он — необученных, необстрелянных, по своей сути, еще детей, которые беспомощно барахтались в этой грозной, приносящей смерть и страдания лавине.

Это была великая война, на которой ему не нашлось места ни в качестве героя-орденоносца, ни в качестве жертвы, словно этот неумолимый Молох не удостоил его своим вниманием, как будто бы его и не существовало вовсе.

На его долю выпали лишь бессмысленная сумятица Тбилисского карантина и Кахетинской учебки, а еще бесконечные передислокации, муштра и та единственная пулеметная очередь из самолета-разведчика «Фокке-Вульф» 189 немецких люфтваффе.

В середине 1990-х Булат Шалвовича вспоминал: «Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался из части в часть. А потом — запасной полк, там мариновали. Но запасной полк — это просто лагерь. Кормили бурдой какой-то. Заставляли работать. Жутко было. Осенью 43-го года опять баня, опять новая одежда. Эшелон. И повезли... мы приехали к месту назначения грязные, рваные, похожие на обезьян, спившиеся. И командиры, и солдаты. И нас велели отправить в Батуми, в какую-то воинскую часть, приводить в чувство. Там казармы, на полу солома, прямо на соломе мы спали. Ничего не делали...

Меня вновь отправили в запасной полк, где я опять мучился, пока не пришли вербовщики. Я уже на фронте побывал, я уже землянки порыл, я уже наелся всем этим... Никакого романтизма — пожрать, поспать и ничего не делать — это главное. Один офицер набирает людей в артиллерию большой мощности — резерв главного командования. Часть стояла где-то в Закавказье, в горах. Не воевала с первого дня. И не предполагается, что будет воевать. Подумал: что там-то может быть трудного? Снаряды подносить — эта работа мне не страшна... И я завербовался. Большинство ребят на фронт рвались. Потому что там жратва лучше была. И вообще повольней было. Если не убьют, значит хорошо. А я пошел в эту часть... Когда я только отправился на фронт, во мне бушевала страсть защититься, участвовать, быть полезным. Это был юношеский романтизм человека, не обремененного заботами, семьей. Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно. Добровольцами шли, как ни странно, интеллигенты, но об этом мы стыдливо умалчиваем до сих пор. А так война была абсолютно жесткой повинностью».

Из романа Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»: «Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра, на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же, наоборот, вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится — они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом козыряют, поминутно

вставляют в разговор «товарищ лейтенант», «товарищ капитан»... о себе иначе не говорят, как «мы — фронтовики, у нас на фронте».

Понятно, что Окуджава относился к первой категории...

Война — это время, в котором или хорошо, или — *никак*.

Но *никак* для людей, прошедших и переживших весь этот ад, не получалось. Более того, со временем желание переосмыслить и рассказать о пережитом усиливалось, потому как воображение и память открывали перед поэтом, прозаиком ли все более значительные виды и горизонты. Возможность абстрагироваться и вышагнуть из трафаретов сознания и идеологических клише, решиться на то, о чем еще совсем недавно и помыслить было страшно, стала своеобразным шансом совершить поступок, на который раньше в силу разных обстоятельств и причин не хватило ни сил, ни мужества, не объективных условий.

В начале 1960-х о войне заговорили так, как никогда до того.

Аркадий Штейнберг, поэт, художник, фронтовик, дважды репрессирован:

*Фронтовики, наденьте ордена!..
А что же я надену? Вот те на!
Я смолodu покрасоваться рад,
Но у меня от всех моих наград
Осталась только тень, осколок тьмы
Квитанция Лефортовской тюрьмы.*

Николай Панченко, поэт, фронтовик:

*И водка разливалась, как вода,
И мальчики сухие не пьянели,
И только очи серые — синели:
Им было — до любви,
Не до стыда.
Мы жили оттого, что иногда...*

Борис Слуцкий, поэт, переводчик, фронтовик, кавалер трех орденов Отечественной войны и ордена Красной звезды:

*Оказывается, война
не завершается победой.
В ночах вдовы, солдатки бедной,
ночь напролет идет она.*

*Лишь победитель победил,
а овдовевшая вдовееет,
и в ночь ее морозно веет
одна из тысячи могил.*

Склонный к рефлексии, Булат Шалвович не мог не вступить в конфликт с самим собой вчерашним, когда, с одной стороны, было необходимо перерасти юношескую восторженность и максимализм, а, с другой, — не впасть в обличительный пафос, подпав под влияние современных модных течений и веяний, не перечеркнуть то, во что еще совсем недавно верилось без оглядки.

И вновь тут приходится говорить о мучительном раздвоении поэтического сознания.

Окуджава мог написать такие знаменитые строки:

*Горит и кружится планета,
над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех, мы за ценой не постоим...*

А при этом у него рождались и совсем другие строки:

*Мой сын, твой отец — лежебока и плут
Из самых на этом веку.
Ему не знакомы ни молот, ни плуг,
Я в этом поклясться могу.*

*Когда на земле бушевала война
И были убийства в цене,
Он раной одной откупился сполна
От смерти на этой войне.*

Так какой же была эта война для Окуджавы?

Вполне возможно, что повесть «Будь здоров, школяр» и стала попыткой ответа на этот вопрос (для Булата Шалвовича в первую очередь): «Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рывкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко».

А ведь таким Булат уже ощущал себя в прежней довоенной жизни, в Арбатском проходном дворе, например, где собиралась местная шпана, криво посматривая на сублильного новенького.

— Ты откуда такой?

— Из Нижнего Тагила.

— Чудила из Нижнего Тагила, — и хриплый лающий хохот блатных в ответ.

В первую очередь это была война с самим собой, между тем, каким хотел быть, и тем, каким был на самом деле, при том, что это противостояние началось еще задолго до 1941 года и продолжилось после великой победы.

Быть выше обстоятельств или приспособиться к ним?

Для интроверта, тяжело переносящего агрессию и недостаток любви, склонного к уединению, очень ранимого, не чуждого учительству, рефлексирующего интуита, не прощающего измен, этот вопрос был ключевым.

Можно утверждать, что прозаический текст (повесть «Будь здоров, школяр»), который для «Тарусских страниц» К.Г. Паустовскому передал друг Булата Борис Балтер, и стал первой публичной попыткой разобраться в себе самом, попыткой, которая затянется на долгие годы, вплоть до самой смерти Окуджавы в 1997 году.

Из повести Б.Ш. Окуджавы «Будь здоров, школяр»: «И мне хочется плакать... потому что можно плакать и не от горя... Плачь, плачь... У тебя неопасная рана, школяр. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...»

И Молох отступает.

И Арбатские блатные перестают надсадно хохотать и пропускают малолетку, сына репрессированного.

А от исповеди становится легче на душе, по крайней мере, на какое-то время.

Выход «Тарусских страниц» (Калужское книжное издательство), среди авторов которых были Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Борис Слуцкий, Николай Панченко, Аркадий Штейнберг, Фрида Вигдорова, Надежда Мандельштам, Давид Самойлов, Булат Окуджава, Борис Балтер, Владимир Максимов, без предварительно согласования с Москвой повлек за собой, что и понятно, грандиозный скандал.

Решение об остановке тиража, а также об изъятии уже напечатанных экземпляров из библиотек было принято на уровне ЦК КПСС.

Это событие, как и многие подобные ему в те годы (закрытие кинокартин, запрещение выставок и спектаклей), имело, как и все при советской власти, так называемое «двойное назначение».

С одной стороны, авторы получили, пусть и скромную, но все-таки возможность напечататься в государственном издательстве (Калужском), с другой же стороны, попав под запрет (нелепый и бессмысленный по своей сути), стали персонами нежелательными в советском литературном истеблишменте, но при этом весьма популярными в неофициальных кругах как в СССР, так и за его пределами.

Таким образом, попасть под партийно-идеологическую «раздачу» было опасно и заманчиво одновременно, чревато последствиями как драматическими, так и многообещающими в плане творческого роста. Это была совершенно непредсказуемая рулетка (например, в 1947 году Сталин лично прочитал роман «В окопах Сталинграда» и дал автору премию своего имени!), играть в которую приходилось всякому, кто называл себя профессиональным прозаиком или поэтом.

Сам режим вынуждал литераторов жить двойной жизнью, вести двойную игру, и Булат Шалвович прекрасно понимал это.

Вступив в Союз писателей СССР в 1962 году, Окуджава уволился из «Литературной газеты». С этого момента он больше никогда не будет работать по найму, полностью посвятив себя свободному творчеству. Цель, которую Булат поставил перед собой еще в Калуге, была достигнута — не отвлекаться на пустое

и никчемное, сосредоточиться на литературе, стать профессиональным писателем.

Единственным источником дохода Окуджавы стали публикации в периодике, книги, переиздания, а также выступления на концертах, отчислениями от которых ведал Литфонд.

Пожалуй, это была единственная приемлемая для Булата возможность заниматься литературой, не входя в тесное взаимодействие с системой и отдельными ее представителями, балансировать на грани совписовской лояльности и антисоветской фронды одновременно.

Конечно, говорить в данном случае о материальной стабильности подобного рода «литературного фриланса по-советски» не приходилось, но для человека, прошедшего войну и продолжающего вести войну с самим собой, едва ли это могло стать поводом для сомнений в правильности выбранного пути, и уж тем более страхов.

Окуджава не подстраивался под обстоятельства, он сам их создавал, не вставал над ними, но выходил на уровень, название которому было «совесть, благородство и достоинство», по крайней мере, всегда стремился к этому выходу.

...а потом офицеры-ракетчики выходили во двор и смотрели в высокое ночное небо над Тюратамом, рассуждали о том, что где-то там сейчас летит космический корабль «Восток-5» и Валерий Федорович Быковский, находящийся на его борту, смотрит в иллюминатор на землю, которая кажется ему совсем небольшой, напоминает некий микроорганизм, предназначенный к рассмотрению под микроскопом на уроке биологии.

Недоумевает:

*Ах ты, шарик голубой,
грустная планета,
что ж мы делаем с тобой?
Для чего всё это?*

*Всё мы топчемся в крови,
а ведь мы могли бы...
Реки, полные любви,
по тебе текли бы!*

Глава 6

В 11-ю группу русского отделения филфака Тблесского государственного университета имени Сталина сестры Ирина и Галина Смольяниновы пришли уже после зимних каникул, успешно сдав зачеты и экзамены за первый семестр.

Перезнакомились все быстро: Ира — Саша, Лев — Зоя, Галя — Булат.

После занятий любили собираться всей группой, читать стихи — Бодлера, Бернса, Межирова, Тихонова, Сельвинского.

Особенно это стихотворение Ильи Львовича Сельвинского будоражило воображение:

*Нас много одиноких. По ночам
Мы просыпаемся и шарим спички,
Закуриваем. Стонем по привычке
И мыслим о начале всех начал.*

*В окошко бьются листья золотые.
Они в гербах и датах. Полночь бьет.
А мы все курум, полные забот.
Нас много одиноких. Вся Россия.*

Выяснилось, что Булат — он был самым старшим в группе — тоже пишет стихи.

В качестве критика, как правило, выступал Саша Цыбулевский, который всякий раз находил сочинения однокашника несомненно талантливыми, но еще недостаточно сделанными, а самого сочинителя — недостаточно творчески сформировавшимся.

Булат молча слушал Цыбулевского и смотрел мимо него куда-то в пространство, а Галя Смольянинова смотрела на Булата.

Все получалось почти как в известном стихотворении Окуджавы, которое он напишет в 1961 году: «а вы смотрите на него, а он глядит в пространство».

Из воспоминаний Ирины Живописцевой (урожд. Смольяниновой): «Это был худой, довольно высокий юноша с вьющимися волосами и большими карими, немного выпуклыми глазами под изломами густых бровей. Кончики губ изогнуты вверх, как бы в лукавой улыбке. Но взгляд не всегда

соответствовал ей, скрывая что-то свое, потаенное. Смеялся он от души, до слез, наклоняясь и потирая нос, который был у него весьма своеобразной формы: в профиль прямой, а в фас — немного утолщенный. Открытости, простодушия, что отличало нас с сестрой (плюс это или минус?), у него не было. Проявления фамильярности к нему со стороны друзей я тоже не помню. Как я теперь понимаю, внутренний мир его был богаче, глубже, разнообразнее, отношение к жизни более осознанное, зрелое. Все мы прошли через войну или война прошла через нас, но многие не задавались вопросами: почему война, почему голод, почему аресты, почему трудности? Нужно выдержать, нужно перетерпеть, потом все будет хорошо. Все держалось на вере (может быть, слепой). Трагедия с отцом и матерью в детстве, война во всех ее жестоких проявлениях заставили Булата раньше других задуматься над многочисленными «почему?». Ответы на них были мучительны и страшны. И поделиться этим нельзя было ни с кем».

Потом Галя привела Булата в семью, познакомила с мамой — Клавдией Игнатьевной (урожд. Рындиной) и отцом-фронтовиком, прошедшим войну в составе Грузинской дивизии Приморской армии, полковником, начальником политотдела войсковой части в Тбилиси Василием Харитоновичем Смольяниновым.

Это был громогласный, большой (во всех смыслах), абсолютно неутомимый человек, принявший друга своей дочери безоговорочно (это было знаком для всей семьи), хотя, что и понятно, ментально Булат Шалвович и Василий Харитонович были абсолютно разными людьми.

Таким образом, молодой человек из номенклатурной кавказской семьи, выпускник филфака, сын репрессированных с одной стороны, и воронежский в годы юности комсомолец, кадровый военный и его жена — дочь купца третьей гильдии Игната Михайловича Рындина, с другой, сошлись на Каспийской улице в четырехэтажном доме в двух угловых комнатах на цокольном этаже «с двумя соседями, с ванной, постоянно наполненной про запас чистой водой из-за плохого водоснабжения, и маленькой кухонькой».

Читаем далее у Ирины Васильевны Живописцевой: «Сейчас понимаешь, что значит, в одной комнате вместе «молодые» и мой брат 14-ти лет, а в другой, проходной, папа, мама (после четырехлетней военной разлуки, соответственно, им 42 и 40 лет) и я, взрослая дочь. Тогда в этом не было ничего исключительного, бывало с жильем и похуже, но проблем у семейных пар было явно предостаточно. Почему так решился жилищный вопрос, мне неизвестно. Знаю, что за год до знакомства Булата с сестрой тетя

Сильва поменяла его отличную квартиру на большую комнату в доме напротив и уехала в Ереван. Булат жил один в этой мрачной полуподвальной комнате, загроможденной вещами тети Сильвы. Иногда мы приходили к нему, он что-то готовил на маленькой металлической сковородке без ручки в темной кухоньке-коридорчике, где было не разойтись двоим... Потом (непосредственно перед женитьбой Булата) и эту комнату тетя Сильва то ли продала, то ли поменяла на Ереван и уехала совсем из Тбилиси. Булат, естественно, переехал к нам. Таким образом, нас в семье стало шесть человек. Работник один — папа».

Думается, что этот шаг (войти в дом Смольяниновых) Булат сделал в силу многих причин. С одной стороны, это была реализация инстинктивного и вполне естественного желания быть в большой полной семье, быть окруженным заботой и любовью, чего в его жизни так не хватало — не хватало этих семейных праздников, застольных песен, ощущения того, что ты не один, что ты кому-то нужен.

С другой стороны, как мы уже говорили выше, к выбору сына Ашхен Степановна (с 1947 по 1949 год она была на свободе) отнеслась прохладно. Видимо, этим объясняется странное поведение старшей сестры Ашхен Сильвии Степановны Налбандян, которая обожала племянника, но сразу после его женитьбы на Галине уехала в Ереван, оставив Булата в Тбилиси без жилплощади. И семья Смольяниновых приняла Окуджаву как родного.

Однако неизбежность редко обретает черты желаемого, попытка убедить себя в том, что это и есть счастье, по большей части становится невыносимой и заканчивается крахом.

Совместное исполнение песен под гитару и мандолину с Василием Харитоновичем, семейные праздники, хоровое пение Клавдии Игнатьевны с детьми (все они обладали прекрасными голосами) довольно быстро наскучили Окуджаве.

Ирина Васильевна Живописцева вспоминала, что Булат тяготился культмассовыми мероприятиями Смольяниновых, более же испытывал склонность к уединению, имея характер замкнутый, будучи человеком немногословным, сдержанным.

Вся эта ситуация, думается, не была бы столь неразрешима, если бы не одно важное обстоятельство, а точнее, не один человек — Галина.

Из книги Бенедикта Сарнова «Красные бокалы»: «По первому впечатлению — они совсем не подходили друг другу. Булат был тоненький, хрупкий («как юный князь, изящен»). Галя — крупная, большая и, что называется, в теле. Булат — типичный кавказец (смуглый, черная с заметной курчавостью шевелюра, усики). Галя

— белокожая, светловолосая и по типу лица — ярко выраженная славянка... И характеры за этой внешностью угадывались разные: Булат выглядел немного мрачноватым, казался нелюдимым, замкнутым (отчасти не только казался, но и был). А у Гали характер был легкий, она была веселая, общительная. И — то, что называется «широкая русская натура».

Конечно, Галина Васильевна была дочерью своих родителей, и Булат не мог этого не понимать, ровно как он не мог при этом не видеть всю глубину ее чувства к нему, как совершенно она растворяется в нем, доверяясь ему полностью, даже не понимая его до конца, принимая его таким, какой он есть.

До определенного момента эта любовь окрыляла и вдохновляла, но потом она стала душить.

*Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня,
и давит меня это небо и гнет —
вот так она любит меня.*

Решение после окончания университета в 1950 году (диплом «Великая Октябрьская революция в поэмах Маяковского») уехать из Тбилиси в Россию было принято Булатом, и Галя, конечно, поддержала его. Вполне возможно, что это была попытка порвать со стилем и образом жизни семьи Смольяниновых и создать свою собственную с Галиной Васильевной семью, попытка проверить свое отношение к жене, свои чувства, понять, наконец, действительно ли он любит ее.

Условия, в которые попали молодые супруги в Калужской области, мы уже подробно описали в первых главах этой книги. Более того, первые роды Гали закончились трагедией — ребенка спасти не удалось.

Парадоксальным также в новой семейной жизни Окуджавы было и то обстоятельство, что, вольно или невольно (в Тбилиси и в Шамордино), между ним и Галиной всегда был третий человек — сестра Ирина Смольянинова (в семье ее называли «третья нужная»), младший брат Виктор Окуджава, отношения с которым у Булата были очень непростыми.

Все это накладывалось на бытовые неурядицы, стесненность в средствах, частые конфликты на работе (сначала в Шамординской школе, а потом в школе в Высокиничах).

Экзистенциальная несвобода как результат постоянного нахождения в окружении людей любящих, родных и близких, но

при этом бессознательно нарушающих *privacy* и не понимающих этого.

От подобной заботы, внимания и восхищения некуда было деться: дефицит любви обернулся ее профицитом.

Стремление к любви и смятение перед ее многообразием, желание одиночества и страх перед ним, жажда творчества и мучительная неуверенность в избранном пути — эти жернова перемалывали Булата. Но и не только его — Галину не в последнюю очередь.

Другое дело, что для Окуджавы это был вполне осознанный поиск самого себя, или, как мы уже говорили, война с самим собой, а вот для Гали — в большей степени интуитивное блуждание впотьмах вслед за любимым человеком, поиск своего зеркального отражения в его глазах. Но слишком часто Булат, увы, смотрел в пространство, куда-то в сторону.

Кстати, этот отстраненный взгляд Окуджавы мимо сохранился на многих его фотографиях, особенно на групповых портретах, казалось, что он видит что-то большее и знает нечто, предназначенное только посвященным.

А Галина Васильевна старалась всегда быть рядом с Булатом.

Она работала школьным учителем вместе с мужем.

В Высокиничах осталась дорабатывать учебный год до конца одна, потому что после конфликта с директором школы — Михаилом Илларионовичем Кочергиным Окуджава с нового календарного года нашел себе работу в Калуге, куда и уехал.

Можно предположить, что это несовпадение маршрутов, если угодно, стало одним из первых несхождений супругов — он стремился двигаться вперед к намеченной цели, она же была вынуждена соответствовать обстоятельствам, в частности, штатному расписанию средней общеобразовательной школы в селе Высокиничи.

2 января 1954 года у Булата и Галины родился сын Игорь.

*В пятидесятых, в четвертом опять,
Сын мой родился, печальный мой, старший,
Рано уставший, бедой моей ставший,
В землю упавший... И не поднять.*

Эти полные драматизма слова Булат Шалвович напишет незадолго до своей смерти в 1997 году.

Своего сына он переживет на полгода.

О том, как реагировал Булат на рождение Игоря, мы можем

судить, читая письма молодых и счастливых родителей.

Б.Ш. Окуджава: «Сейчас пойдем и напьемся крепко вусмерть. Мы были очень за тебя спокойны, почему — не знаю. Что тебе принести покушать, и сейчас же ответь, как ты себя чувствуешь и видела ли ты Пикелишу (*шуточное прозвище, данное ребенку еще до его рождения*)? И какой он, а тебе он понравился?»

Г.В. Смольянинова (Окуджава): «О себе я писать ничего не придумаю, и вот уже беспокоит малышка, он совсем не ест, сегодня утром в 9 ч. немножечко первый раз покушал... Врачи говорят, что бывает, еще возьмется за вас, но я уже волнуюсь. Пикелишу хороший, он смугленький, волосики у него темненькие, а брови и ресницы светлые, глаза синие, овал лица тоже мой».

Б.Ш. Окуджава: «Пересылаю тебе поздравительные телеграммы... Как твоё здоровье? Как Пикелишь?.. Сегодня посылаем тебе булочки... Ждем тебя. Вчера я купил в магазине ванночку».

Б.Ш. Окуджава: «Сегодня Игорьку выправил первый документ... Поцелуй Пикелиша от меня крепко. Поменьше волнуйся за него, ничего с ним не приключится. Будешь волноваться — будет он крикунчик... Крепко целую, Булат».

Конечно, Окуджава был рад, что в их с Галиной жизни наступал новый период, и все это понимали, однако об отцовстве у него к тому времени сложилось свое представление, ведь по сути он заменил отца своему младшему (на десять лет) брату Виктору.

Сам Булат, выросший без отца, чувствовал на себе ответственность за младшего брата, не имея, впрочем, в этом статусе (статусе главы семьи) собственного жизненного опыта.

Так получалось, что они с Виктором всегда были вместе.

Так случилось, что Булат стал учителем Виктора и в школе.

Скорее всего, ответственность воспринималась старшим братом как разновидность жесткости, армейской дисциплины и чрезмерной требовательности (о частых конфликтах братьев в Шамордино мы уже говорили). При этом сам Булат едва ли видел себя в той роли, которую он уготовил своему младшему брату Виктору.

Думается, что в данном случае речь может идти о так называемом «синдроме старшего брата», который заключается в том, что старший в силу объективных причин находит себя принадлежащим высшим целям (политике, науке, творчеству) и абсолютно не воспринимает людей слабых и менее ответственных, нежели он сам. Роль таких (*пропащих*) людей, как правило, играют младшие братья, которые постоянно держат старшего в

напряжении, не вызывают его доверия, на них нельзя положиться, хотя очень часто это не соответствует действительности, но признаться в том, что он неправ, старший не может, потому как видит в этом слабость, а у него нет слабостей.

*Мне все известно. Я устал все знать
и все предвидеть.
А между тем, как запросто опять
меня обидеть.*

*Как мало значу я без гордых сил,
в костюме зашитый.
Мой опыт мне совсем не накопил
от бед защиты.*

Интересные воспоминания об Окуджаве оставил русско-американский писатель и журналист Владимир Исаакович Соловьев (личность неоднозначная, отчасти даже и одиозная, хорошо известная в русских эмигрантских кругах своими резкими, порой на грани фола комментариями): «Еще были непростые отношения с младшим братом, которого Булат в молодости всюду таскал за собой, но воспрепятствовал его подростковому роману, а как тот считал — сломал ему жизнь: так и остался холостяком и так и не простил Булата, навсегда прекратив с ним отношения. За пару дней до смерти Булат сочинил покаянный стих:

*В тридцать четвертом
родился мой брат,
и жизнь его вслед
за мной полетела.
Во всех его бедах я не виноват,
Но он меня проклял...
И, может, за дело...*

На совести усталой много зла? Душевная усталость от жизни? Либо тот комплекс стихотворца, о котором довольно точно написал Дзизик Самойлов применительно к Заболоцкому:

*И то, что он мучает близких,
А нежность дарует стихам...*

Для внешней жизни у Булата в самом деле оставалось немного — он весь расходовался на литературу. Отсюда его круглое одиночество: несмотря на несколько верных друзей и тьму поклонников и поклонниц, всенародный бард был типичным интровертом. Так случается сплошь и рядом: известные юмористы (Зощенко, например, или Довлатов) были по жизни беспросветными пессимистами, а тончайшие лирики — замкнутыми, сухими людьми, как тот же Тютчев, возведший свою обособленность в жизненный принцип: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои!» Не говоря о Фете, авторе любовных шедевров, который довел возлюбленную бесприданницу до самоубийства и женился на деньгах. По тому же закону противоположностей, утешительные и слезоточивые лирики, типа Окуджавы, должны быть хладными, как лед. Или он душевно поизрасходовался в молодости? В чем убежден, так это в его однолюбии: старая любовь могла умереть, могла и выжить, но вряд ли оставила место для новой. Душевная атрофия предшествует обычно физической».

Виктор Шалвович Окуджава (25.05.1934– 18.11.2003).

Переживет старшего брата и племянника на шесть лет.

Склонен к депрессиям, сумеречным состояниям, паническим атакам, а также страдает метаниями и ненахождением себе места.

Истеричен.

Часто доходит до крайне нервного возбуждения, приводящего к срывам.

Изломанная психика.

Симптоматика поведения человека больших дарований, склонного к творчеству и научной деятельности, но зажатого при этом между двух сильных характеров — старшего брата и матери, которые, сами того не подозревая, культивировали в нем инфантилизм в далеко уже не детском возрасте.

То, как понимали воспитание мальчика Ашхен Степановна (в перерывах между работой и ссылками) и Булат Шалвович, входило в противоречие друг с другом. Виктор был на этом роковом перепутье, разрываем им.

Конечно, его симпатии были на стороне Ашхен, хотя бы потому что она была его матерью и женщиной, но старший брат был всегда рядом, был его повседневностью, его суровой

реальностью. Тем самым Булат как бы отвечал на вопрос, заданный Господом Каину, — «разве я сторож брату своему?» — утвердительно.

Итак, раздвоение стало неизбежно, очевидно и пагубно.

Рождение Игоря Булатовича произошло именно на этом, если угодно, неблагоприятном фоне взаимоотношений старшего и младшего братьев.

К чрезмерному внутреннему напряжению Булата и категорической его невозможности сосредоточиться на себе (на своем творчестве) прибавились бытовые заботы, бессонные ночи и, самое главное, — мучительная и безнадежная несвобода, ощущение поработанности этим маленьким плачущим существом, постоянно требующим к себе внимания.

Бенедикт Сарнов, который был дружен не только с Окуджавой, но и с Галиной Васильевной, вспоминал впоследствии: «...с Булатом меня сроднило еще то, что ни он, ни я не имели ни склонности, ни желания в... воспитательном процессе участвовать. (Когда я однажды попытался в этот процесс вмешаться, мой малолетний сын сразу поставил меня на место, строго объявив: «Моим воспитанием занимается мама».) Краем уха я слышал, что между Булатом и Галей уже пробежала парадругая черных кошек, что он от Гали будто бы уже уходил и вот решил вернуться».

Литературное творчество, а также участие в работе литобъединений и писательских семинаров увлекли Булата Шалвовича по понятным причинам — это была единственная реальная возможность вырваться из того тупика, куда его загнали быт и то, что называется рутиной семейной жизни, о которой он до того не имел ни малейшего представления. Вернее, именовал для себя рутиной то, что есть явление обыденное и во многом закономерное. Но из детства Булат вынес совсем другие воспоминания и уроки — улыбающиеся родители, совместные застолья, поездки в Евпаторию, чтение книг, устремленность вперед, мысли о высоком.

Итак, поэт должен писать стихи, а воспитывать детей, гулять с ними, ходить в магазин и стирать белье должны другие, например, жена или родственники.

В этой позиции, пожалуй, не было ничего надменного и уж тем более снобистского. В этом сказывались сосредоточенность и верность избранному пути, верность себе как художнику.

Спустя годы Булат совершенно искренно воскликнет:

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,

*От поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костыми нам лечь.*

В 1956 году Окуджава вместе с Галиной и двухлетним Игорем переехал в Москву к маме в дом на Краснопресненской набережной.

Из воспоминаний И.В. Живописцевой (Смольяниновой): «Булат с Галкой и Игорушей из Калуги перебрались в Москву. Виктор, младший брат Булата, тоже переехал к матери. Я только один раз была в этой квартире. Удивило, что мать спала в коридоре, а не в комнате с Виктором, которому ее беспокойный сон мешал спать. Может, из всей квартиры мне запомнился этот длинный и узкий коридор, где ночевала и я... Я не глубоко, к сожалению, вникала в трудности сестры... похудевшая, как девочка, вид у нее был замученный, в глазах печаль и недоумение».

С одной стороны, это была вынужденная мера — Булат нашел работу в Москве, и его семье нужно было где-то жить.

Но с другой, это было подсознательным признанием правоты матери, которая в свое время отнеслась к женитьбе сына отрицательно. Произошло своего рода возвращение блудного сына, признавшего свою ошибку и желающего ее исправить.

Галина Васильевна не могла этого не чувствовать, тяжело переживая разлад с любимым человеком. Ей было обидно, что все прожитое и пройденное вместе не смогло прересилить нечто потаенное в супруге, пришедшее из детства, из его семьи, нечто абсолютно запредельное, в котором ей и ее сыну нет места.

Отстраненность Булата чувствовалась во всем, было видно, что он отдаляется (литературные успехи тому споспешествовали), это было продолжение внутренней войны с самим собой, мучительного нестроения человека, приходящего к пониманию того, что он не любит женщину, которая является матерью его ребенка.

*Не верю в Бога и судьбу.
Молюсь прекрасному и высшему
Предназначенью своему,
на белый свет меня явившему...
Чванливы черти, дьявол зол,
бездарен Бог — ему неможется.
О, были б помыслы чисты!
А остальное все приложится.*

*Верчусь, как белка в колесе,
с надеждою своей за пазухою,
Ругаюсь, как мастеровой,
то тороплюсь, а то запаздываю...*

А ведь Игорь был похож на мать.

Смольяниновская порода — крупный, круглолицый.

На сохранившихся фотографических изображениях мальчик по большей части запечатлен вместе с матерью. А еще есть одна фотография Игоря, где он в возрасте 20 с лишним лет — бурная шевелюра папиных волос и задумчивые печальные мамины глаза. По семейной привычке — отсутствующий взгляд куда-то в сторону и бессильно сложенные на коленях руки.

Этому человеку Булат Шалвович посвятит следующие строки:

*Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.*

*Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету, невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.*

*И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он все ждет своих врагов.*

*Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинутся, трубя...
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.
Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук,
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.*

*Живет защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»*

И он прицелится в тебя.

На все вопросы — «ты счастлив?», «тебе не страшно?», «тебе не больно?» — звучит один ответ, который в своей сути ответом и не является — «в тебя».

Как выстрел в человека, который пишет эти строки, или в человека, который их читает.

Думается, что у отца и сына был свой ответ на этот вопрос.

Снял с предохранителя, передернул затвор и начал выцеливать.

Конечно, Булат помнил, как это было под Моздоком, когда он вообще ничего не понял — только удар, тупая боль в ноге, кровь и заволакивающий сознание нестерпимый холод, а ведь даже и не знал, кто в него выстрелил, откуда пришла эта шальная пуля.

У Игоря же все было совсем по-другому, при том, что отслужил в армии и на учебных стерльбах палил из Калашникова по деревянным в форме солдат неприятеля мишеням. Но на себе ощущал совсем другой прицел — скользящий и холодный взгляд отца. Единственное, что радовало в этом смысле, — со временем с этим взглядом он встречался все реже и реже. Однако даже когда отец совсем ушел из семьи, подспудно находил себя на линии его прицельной планки. Оглядывался по сторонам в растерянности — нет, никого рядом не было.

Стало быть, привиделось.

Стало быть, не отпускает.

Ненавидел себя за это.

Дядю жалел.

Отца боялся.

Мать любил.

Что же касается до самого себя, то испытывал к себе все вышеозначенные чувства разом.

Жалел свое одиночество, даже плакал от жалости к самому себе, помнил все обиды и не прощал их.

Боялся ярости, в которую впадал, словно в нем просыпался какой-то другой, неведомый ему человек — нездоровый, нетрезвый, вопящий от боли, которую сам себе и причинял, с опухшим от беспробудного пьянства лицом.

Любил свои воспоминания и себя в этих воспоминаниях, не имевших, увы, к реальной жизни никакого отношения, потому что прошлое нельзя вернуть.

Нельзя, например, вернуть прогулки в парке имени Павлика Морозова на Красной Пресне с отцом, который в памяти

сохранился молодым, в несоразмерно тяжелом драповом пальто, больше напоминавшем шинель, без головного убора, улыбающимся. А когда они возвращались домой, их всегда встречала мама и пока раздевала маленького Игоруша, отец с гордостью рассказывал о том, каких успехов достиг сегодня его сын на прогулке.

Такой смысленный, сообразительный, все понимающий, иногда, конечно, упрямый, но всякий настоящий мужчина должен быть упрямым, особенно когда идет к своей цели.

Отец уходил по дорожкам парка все дальше и дальше, и уже казалось, что это уходит вовсе не он, а его огромное драповое пальто, к которому Игорь почему-то испытывал отвращение, раздражался, когда воспоминания о нем выплывали, полностью замещая собой воспоминания о том, кто в него был облачен.

Помнить все это не хотелось, но это помнилось, как назло, настойчиво, назойливо, вызывало головную боль.

Пальто уходило, но всякий раз появлялось заново и уходило снова.

До бесконечности, до умопомрачения.

А потом мать сказала сыну, что у папы есть другая семья и что он больше не будет с ними жить.

Из воспоминаний Ирины Живописцевой: «В 1964 году Булат оставил семью. Сестра не выдержала напористости претенденток, способных к театральным коленопреклонениям на сцене во время концертов Булата, его обмана и неоднократных лживых обещаний и раскаяний. «Медные трубы» славы сделали свое дело. Галя и Булат расстались после семнадцати лет супружества. Остались квартира, сын и добрые отношения. В то время мне было непонятно, каким образом можно в такой ситуации поддерживать их».

Из воспоминаний Владимира Войновича: «Но с Булатом произошло то, что случилось с большинством писателей, достигших известности. Сначала они живут, преодолевая с помощью своих самоотверженных жен серьезные материальные трудности, невзгоды, недоедание и непризнание. А потом приходят известность и деньги, к ним начинают липнуть другие женщины — молодые, красивые, начитанные, не уставшие от тяжелой жизни, от кухни и стирки, знающие толк в белье и косметике, умеющие изящно польстить, поддакнуть, изобразить тонкость понимания и искушенные в интригах. Старые жены неизбежно проигрывают конкуренцию и выбраковываются, как отслужившие свое походные лошади».

Едва ли, однако, все на самом деле выглядело столь банально и предсказуемо. Взаимоотношения Булата Шалвовича и Галины

Васильевны под воздействием объективных житейских причин, людей, их окружавших, индивидуальных особенностей и черт характера, претерпели сложнейшую эволюцию от привязанности и любви до отторжения и непонимания, от взаимной поддержки и дружбы до взаимных претензий и раздражения, от полноты до абсолютной пустоты.

*Ты в чем виновата?
А в том виновата,
что зоркости было в тебе маловато:
красивой слыла, да слепую была...
А в чем ты повинна?
А в том ты повинна,
что рада была ты любви половинной:
красивой слыла, да ненужной была.*

Слова, после которых начинается совсем другая жизнь и заканчивается предыдущая.

Когда Игорю исполнилось 11 лет, от сердечной недостаточности умерла его мать — Галина Васильевна.

Это произошло у него на глазах.

Из книги Бенедикта Сарнова «Красные бокалы»: «Она лежала навзничь на незастеленной кровати и задыхалась, хрипела. Это был даже не хрип, а какое-то жуткое звериное рычание. Милое ее лицо было неузнаваемо: набрякшее, как бы распухшее, лилово-синее. Тело сотрясало от сводившей его судороги.

Не надо было быть врачом, чтобы понять: это агония.

Но я все-таки надеялся на «скорую», на какой-нибудь спасительный укол, сам не знаю на что.

Прошло минут десять-пятнадцать (мне они показались часами), а «скорая» все не приезжала...

Я стоял как столб, не зная, как и чем тут можно помочь. А она умирала. А «скорая» все не появлялась.

И все это время, пока она умирала, я стоял, один-единешенек, беспомощный, не знающий, как быть и что тут можно сделать. Лишь на миг мелькнуло в распахнутых дверях квартиры белое как стена лицо Левы Левицкого, и я снова остался один на один с умирающей Галей, с уже вплотную приблизившейся к ней смертью.

Хоронили Галю на новом тогда Востряковском кладбище, раскинувшемся напротив старого, где была могила моего отца. (Спустя годы на том же кладбище, теперь уже давно не новом,

хоронили Андрея Дмитриевича Сахарова.)

Булат сказал, что на похороны не пойдет. Он живо представил себе, как вся Галина родня и ближайшие ее подруги будут смотреть на него как на главного виновника ее смерти, на убийцу. Нет, он этого не вынесет. Не пойдет.

Но наша подруга Зоя Крахмальникова железным голосом сказала:

— Пойдешь.

И таки заставила его прийти и все время, что длилась эта печальная церемония, простояла рядом с ним, обеими руками крепко сжимая его руку.

К этому времени у Булата Шалвовича уже был годовалый сын, и взять оставшегося без матери Игоря в новую семью он отказался.

Солдатик выстрелил в самого себя...

Игоря забрали в Воронеж Ирина Васильевна, Василий Харитонович и Клавдия Игнатьевна. Однако, пробыв здесь полтора месяца, Ирина Васильевна была вынуждена срочно вылететь во Владовосток, где на флоте служил ее муж. Игорь Булатович Окуджава полетел вместе с тетей.

В феврале 1966 года с гастролями во Владивосток приехали Роберт Рождественский, художник-график Стасис Красаускас и Булат Окуджава.

Читаем в книге Ирины Живописцевой «О Галке, о Булате, о себе...»: «Он (Булат) сказал о своем желании видеть Игорушу чаще, о том, что скучает без него. Понятно, что приезжать во Владивосток можно только изредка, — значит, Игоруша должен был уехать. Булат не хотел, чтобы он жил в Воронеже у бабушки с бабашкой. В то же время взять его себе не входило в его планы. Оставался один вариант. И мои родители приехали в Москву, чтобы жить вместе с Игорушей. Они были рады и этому. Был доволен и Булат и, возможно, Игоруша».

Итак, Смольяниновы-старшие с внуком поселились в квартире на Аэропорте, в которой умерла их дочь и мать Игоря — Галина Васильевна.

Впрочем, этот альянс оказался недолговечным.

С трудом закончив школу, Игорь ушел в армию, а старики вернулись в Воронеж.

Из армии Игорь Булатович Окуджава пришел уже совсем «другим» человеком.

Бенедикт Сарнов пишет: «Да, как это ни грустно, квартира Игоря очень скоро стала пристанищем для разных — не всегда даже близких — приятелей Игоря, что ни день собиравшихся у него для совместных возлияний и беспорядочных случайных

соитий...

Я позвонил Булату.

Сказал, что мне необходимо срочно с ним увидеться.
(*Бенедикт Сарнов и Игорь Окуджава жили в одном доме*)

Моя сообщение о том, что Игорь «колется» и даже приторговывает наркотиками, Булата не сильно поразило. Мне даже показалось, что он об этом уже знал. Во всяком случае, догадывался, чего-то подобного от моего визита и ждал. Согласился, что да, все это очень опасно и что-то с этим делать надо... спросил, во что обойдется этот врачебный визит (к сыну), и вручил предназначавшиеся для доктора 25 рублей.

Эта реакция меня слегка ошарашила, но я подумал, что Булат, наверно, не понял, чем все это грозит его мальчику. А может быть, как раз наоборот: прекрасно понимал, но уже знал, что все его усилия ни к чему не приведут — Игоря ему не спасти.

Он, видимо, какие-то попытки уже предпринимал и не с одним психиатром на эту тему уже беседовал.

Что же касается нашего доктора... то он, побеседовав с пациентом, спустился к нам, на седьмой этаж, получил свой гонорар и произнес успокоительную речь, смысл которой был в том, что Игорь в опасную фазу наркомании еще не втянулся и, как он думает, не втянется.

В общем, Игорю удалось его охмурить, а тем самым отчасти и нас тоже.

Кончилось все это ужасно».

Известно, что в начале девяностых Игорь Окуджава устроился звукорежиссером в театр «Сфера» (рассказывали, что он обладал великолепным голосом и прекрасно пел), где он проработал около трех лет, затем ушел, торговал книгами в «Олимпийском», перенес ампутацию ноги, родил сына Алешу.

Он умер в возрасте 43 лет абсолютно больным, одиноким и раздавленным человеком.

Его похоронили рядом с матерью.

И наступило полное молчание...

Впрочем, общение между старшим и младшим братьями (Булатом и Виктором) к тому времени тоже уже давно было прервано (по инициативе последнего).

Под копытами снег голубой примят.

Еду в возке я по чужой стороне...

Так грустно, брат мой, грустно, мой брат!

Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

*Там горит огонек у того леска.
Еду в возке я. Дуга на коне...
Все тоска окружает, тоска, тоска!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.*

*Все чужие леса да чужая даль.
И мороз страшней, и душа в огне...
А печаль-то, мой брат, печаль, печаль!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.*

Если не знать, что это стихотворение написал Булат, то вполне логично было бы задать вопрос, о каком из братьев идет речь — старшем или младшем. Кто из них грустит, тоскует и печалится, кто просит вспомнить о нем, ведь и тот и другой были склонны к депрессивным, порой даже сумеречным состояниям, от которых каждый спасался, как мог. Булат — стихами, Виктор — затворничеством и писанием научных трактатов.

*В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идуший следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.*

И вновь неясно, кто есть кто в этих строках, кто спасется, а кому не на что надеяться?

Отцовство старшего брата и сиротство сына, одиночество младшего брата и вечное сыновство отца — сон внутри сна, двойник внутри двойника, когда уже невозможно разобраться в том, что снится, а что есть явь, кто есть кто, потому как слишком уж близки люди, мучающие друг друга и не могущие разорвать этот замкнутый круг, которому они обречены, или которому они обрели сами себя.

От безысходности хочется повернуть время вспять и начать все сызнова.

Вот в 11-ю группу русского отделения филфака Тбилисского государственного университета имени Сталина приходят сестры

Ирина и Галина Смольяниновы, которые успешно сдали зачеты и экзамены за первый семестр.

В группе их встречают радушно, все быстро знакомятся — Ира — Саша, Лев — Зоя, Галя — Булат.

После занятий студенты любят собираться и читать стихи — Бернса, Межирова, Тихонова, Сельвинского, Бодлера.

*Разврат и Смерть, — трудясь, вы на лобзанья щедры;
Пусть ваши рубища труд вечный истерзал,
Но ваши пышные и девственные недра
Деторождения позор не разверзал.*

*Отверженник поэт, что, обреченный аду,
Давно сменил очаг и ложе на вертеп,
В вас обретет покой и горькую уладу:
От угрызения спасут вертеп и склеп.*

Особенно эти строки из «Цветов зла» Бодлера производят сильное впечатление на студента-фронтовика Булата Окуджаву, который еще не знает, что они будут преследовать его всю жизнь.

После трехлетних мытарств совершенно неожиданно рукопись взяли напечатать в областном Калужском издательстве и даже подготовили ее к публикации, но в последний момент выяснилось, что местная типография обанкротилась, а везти текст печатать в Ярославль или тем более в Киров нет денег.

Все остановилось, что, впрочем, ни в коей мере не остановило развитие событий, описываемых в безымянной рукописи, найденной на «Мичуринце»:

«20-го мая 1831 года из Успенского собора, что на Сенной площади в Петербурге, вышел молодой человек. Помедлив какое-то время, видимо, размышляя о маршруте нынешней прогулки, он весьма решительно развернулся и направился в сторону Гороховой.

Причем решительность его выражалась не в резких и размашистых движениях, порывистости взгляда и горячем желании просто шагать, пристально при этом вглядываясь в лица встречаемых прохожих, разумеется, тут же придумывая их истории. Решительность молодого человека выражалась в какой-то возбужденной внутренней сосредоточенности, в предощущении того, что сегодня к обеду он зван в дом Петра Александровича Плетнёва, где ему предстоит познакомиться с человеком, которого он не просто любил, но боготворил, на которого хотел походить во всем.

Причем (в этих случаях молодой человек смущенно улыбался, даже давился от внутреннего смеха, но ничего поделать с собой не мог) он вставал перед зеркалом и долго смотрел на себя, всякий раз находя у себя довольно черт сходства с этим великим человеком.

Совершенно не заметив, как, он вышел на Фонтанку.

Здесь остановился у чугунной балюстрады, перегнулся через нее и стал всматриваться в переливающиеся перламутром на майском солнце языки воды, что тут же и напомнили молодому человеку вечно сонных, толстых, неповоротливых сомов, что водились в пруду, выкопанном недалеко от дома, где он жил в детстве со своей матушкой и отцом.

Рыбы лениво маневрировали между водорослей, едва шевеля при этом плавниками, выпускали из открытых ртов пучки жеванных водорослей, закатывали глаза, шевелили усами. Тогда, вооружившись длинной палкой, можно было даже и потрогать их, а они, потревоженные, начинали сразу сердито пускать пузыри,

бить хвостами воду, очевидно, думая, что сейчас их будут извлекать из места их неспешного и счастливого бытования, потрошить, подвергать экзекуции на открытом огне и подавать к барскому столу.

Молодой человек рассмеялся, потому что тут же представил себе, каким сегодня будет стол у Петра Александровича.

С Плетнёвым они познакомились в Патриотическом женском институте, что располагался на десятой линии Васильевского острова. В институте Петр Александрович занимал должность инспектора и после непродолжительного общения предложил своему собеседнику место учителя истории. Николай Васильевич Гоголь, а ведь именно так и звали молодого человека, с радостью согласился.

Постояв еще какое-то время у ограды, Гоголь двинулся дальше. Волнение, волнами накрывавшее его, то отступало и давало возможность вдохнуть полной грудью, то полностью придавливало к земле. В эти минуты Николай Васильевич даже останавливался, мучимый желудочными спазмами.

Более того, безумная мысль развернуться и бежать подальше от дома Плетнёва захватывала его целиком, от нее он цепенел, ему становилось страшно, а ладони его холодели и покрывались липким холодным потом.

— Нет, нет, нет, — говорил он сам себе полушепотом, пересиливал себя, с трудом сдерживал острое бурление газов, читал молитву, — Соделай, Господи, так, чтобы я в страдании не бежал от Тебя, чтобы бодрость моя увеличилась, отвержи мне ум, чтобы разумел я Писание и научился довериться Тебе в истинном безмолвии сердца!

От этих слов становилось легче, и Николай Васильевич продолжал идти вперед, абсолютно недоумевая, почему еще совсем недавно он был бодр и весел, предвкушая встречу с великим поэтом, а теперь, по мере приближения, полностью впал в истерическое, болезненное возбуждение, бредовое полубессознательное состояние, в котором не находилось места не то что радости, но и обычному житейскому спокойствию, без которого любое душевное движение превращается в муку.

Более того, всякая мысль о богатом плетнёвском застолье теперь вызывала нестерпимые приступы тошноты.

Размышляя над этим парадоксом, Гоголь, с трудом узнавая окрестности, остановился перед парадным подъездом дома, где обитал Петр Александрович.

Шум в голове мгновенно стих.

Все, что последовало потом, происходило в каком-то мглистом, более напоминавшем едкий густой дым от горящих

листья, тумане.

Николая Васильевича провели через анфиладу комнат и представили невысокому сухопарому человеку, видимо, с некогда пышной шевелюрой черных волос, но теперь изрядно поредевших и обнажавших смуглый вытянутый книзу череп.

Все было до такой степени обыденно, что едва вообще походило на правду: короткое, как показалось Гоголю, достаточно протокольное рукопожатие, отстраненная полуулыбка на лице Александра Сергеевича, несколько дежурных вопросов о роде деятельности и увлечениях...

И все!

Пушкин, окруженный толпой поклонников, большую часть которых составляли дамы, начал постепенно удаляться, а звук его и без того негромкого голоса почти полностью растворился в общем гуле.

— Ну что же вы, Николай Васильевич, — Гоголь повернулся. Перед ним стоял Петр Александрович Плетнёв, картинно разведя руки и приподняв плечи в знак полнейшего непонимания пассивности своего молодого протеже:

— Догоните Александра Сергеевича! Он сейчас будет читать стихи!

Эти слова Плетнёва оглоушили, прогремели, будто бы они были изречены глинобородым пророком Иезекиилем, что оловянным немигающим взором смотрел на Гоголя, а в руках при этом он сжимал свиток, на котором было начертано — «отчаяние, плач, стон и горе».

Николаю Васильевичу хватило буквально нескольких шагов, чтобы, весьма бесцеремонно, следует заметить, растолкав поклонников и поклонниц, оказаться рядом с поэтом.

Пушкин к тому моменту выглядел уже совершенно по-другому.

От явленных несколько мгновений назад холодного безразличия и великосветской надменности не осталось и следа.

Александр Сергеевич весьма комично жесткулировал, глаза его горели, могло даже показаться, что он находится в особенном возбуждении, даже экстазе, а голос его теперь звучал необычайно высоко и резко:

*Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом: одни лампы
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады...*

И мысленному взору Николая Васильевича тут же явилось потемневшее от времени изображение Страшного суда в Успенском соборе, что на Сенной, где семь ангелов изливали семь чаш гнева Божьего.

Сложив на груди руки крестообразно и закрыв глаза, Гоголь заговорил быстрым свистящим полушепотом:

— Первый ангел пролил чашу гнева в землю, и выступили на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся ему, жестокие и отвратительные гнойные раны. А второй ангел пролил чашу гнева Божьего в море, и все живое умерло в море. Третий ангел вылил чашу гнева на солнце, и стало оно жечь людей. Пятый ангел излил чашу на престол зверя, и сделалось царство мрачно, а князья мира сего кусали языки свои и страдали. Шестой ангел пролил Божий гнев в Евфрат, и высохла в нем вода, уготовив путь царям. Седьмой же ангел пролил чашу на воздух, и раздался великий и ужасный голос — свершилось!

*— Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...*

Завершив чтение, Александр Сергеевич как-то сразу обмяк, словно лишился последних сил. Его тут же подхватили под руки и усадили в кресло. В наступившей тишине было слышно лишь тяжелое дыхание поэта, да всхлипывания некоторых дам, готовых, как могло показаться, в любую минуту потерять сознание.

Меж тем, сделав несколько глотков из поднесенного фужера Аи, Пушкин пришел в себя, а допив шампанское до дна, порывисто встал и неожиданно для всех подошел к Гоголю.

— Запомятовал ваши имя-отчество!

— Николай Васильевич...

— Откровение святого Иоанна Богослова, глава шестнадцатая. Не так ли, Николай Васильевич?

— Так точно! — сам не зная почему, Гоголь сложил руки по швам и отрапортовал, словно перед ним стоял начальник департамента или даже сам министр. Получилось глупо,

разумеется, и в толпе тут же раздались смешки.

— Нет-нет, не беспокойтесь, вы мне совершенно не помешали, даже более того, обнадежили, что мое слово доходит до сердца слушателя, заставляет его переживать! Не желаете ли шампанского, дорогой Николай Васильевич? — на этих словах Пушкин сделал рукой едва заметное, в чем-то даже ленивое движение, полностью выдавшее в нем человека, уверенного в том, что любой его взгляд, поворот головы, усмешка, брошенная наудалую ремарка не останутся без внимания. Так оно и вышло — в его руке тут же появился полный фужер:

— Прошу вас...

— Благодарю вас, Александр Сергеевич, — приняв шампанское из рук поэта, Николай Васильевич начал пить его большими каркающими глотками.

Раздались аплодисменты, к которым присоединился и Пушкин. Он приподнял свои узкие плечи до уровня подбородка, уткнулся носом в сложенные ладони, словно собрался молиться, затем выглянул из этого комического укрытия и громко хлопнул, как выдохнул.

Остаток вечера Пушкин и Гоголь провели вместе.

Александр Сергеевич с увлечением рассказал своему молодому другу о том, что сейчас его особенно интересует личность императора Петра I и он намерен приступить к работе в императорском архиве, дабы провести разыскания о личности государя и периоде его царствования.

Пушкин так увлеченно рассказывал о Петре Алексеевиче, что Николай Васильевич сразу вообразил себе этого, как ему представлялось еще с раннего детства, великана.

Сухощавый широкоплечий человек с босым, как у вавилонской блудницы, круглым лицом и торчащими ружейными шомполами в разные стороны колючими насурьмленными усами.

Конечно, следовало бояться этого страшного не то человека, не то медиума, о котором ходили самые разные слухи.

Говорили, например, что он мог превращаться в разных животных, мог есть сырое мясо и жить под водой, а еще утверждали, что в 1725 году он и не умер вовсе, просто потому что не может умереть, а совсем недавно его видели в Коломне, где он сидел на берегу Крюкова канала и ловил рыбу.

Рыбы подплывали к Петру Алексеевичу и смотрели на него из-под воды своими выпученными глазами, а он смотрел на них. Затем император опускал руку в ледяную воду, доставал одну из этих рыб-предуготованных и клал ее в карман своего камзола.

Николай Васильевич не мог смотреть на то, как рыба начинала биться и прятать жабрами, как она разевала рот, а потом

затихала в непроглядной темноте кармана.

Засыпала.

Медиум в образе императора всероссийского поднимал с земли длинную палку и со всей силы ударял ей по воде. Потревоженные рыбы сразу начинали сердито пускать пузыри, бить хвостами воду, устремлялись в свои придонные норы, очевидно, думая, что сейчас их будут извлекать из места их неспешного и счастливого бытования, потрошить, подвергать экзекуции на открытом огне и подавать к царскому столу.

Николай Васильевич вздрогнул.

— Милый мой друг, да вы меня и не слушаете вовсе? — громко рассмеялся Пушкин и обнял Гоголя за плечи.

— Александр Сергеевич, помилуйте, слушаю и еще раз слушаю! Просто дело в том, что слишком часто игра воображения полностью захватывает меня, и я уже не могу с точностью сказать, что есть правда, а что вымысел. Так и сейчас, поверьте, представил себе нашего великого самодержца ловящим рыб на Крюковом канале.

— Господа, вы слышали, это просто гениально! — Александр Сергеевич в ажитации выбежал на середину зала и громко продекламировал:

— Но по слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множество рыбы.

И даже сеть у него прорывалась.

Ужас объял его и всех бывших с ним

От этого лова рыб, ими пойманных.

Но сказал Иисус — не бойся,

Отныне будешь ловить человеков!

— Евангелие от Луки, стих пятый, — негромко проговорил Николай Васильевич, однако голос его был услышан, и вновь раздались аплодисменты.

— Большой, большой оригинал, — Петр Александрович Плетнев указывал на Гоголя, потирал ладони, посмеивался. Было видно, что он чрезвычайно доволен тем обстоятельством, что его молодой питомец понравился поэту, что, как известно, было делом непростым, ведь к новым знакомствам Александр Сергеевич относился с настороженностью и предпочитал держать людей на расстоянии.

А меж тем, по завершении рассказа о Петре I Пушкин представил Гоголю своего помощника, советника Коллегии иностранных дел Александра Михайловича Розена, чье содействие, по словам поэта, было в высшей степени незаменимым и полезным, ведь именно в архиве Коллегии и находились основные материалы, связанные с Петром

Алексеевичем и его царствованием.

Спустя несколько дней после приема в доме Плетнёва во время прогулки по набережной Екатерининского канала Николай Васильевич обратил внимание на сидящего у воды человека, опиравшегося на деревянную палку, что напоминала старинного образца посох.

Подойдя ближе, Гоголь узнал в человеке своего давешнего знакомого — Александра Михайловича Розена.

Поздоровались сдержанно.

Жестом Розен предложил Николаю Васильевичу присесть рядом.

Неожиданно резкий, как выстрел, нарочито громкий, удар деревянного посоха по воде, пришедшийся по переливавшимся весенним перламутром языкам воды, что взметнулись и рассыпались на сотни искрящихся на майском солнце брызг, заставил вздрогнуть и вырваться из напряженной внутренней сосредоточенности, подавиться глубоким глотком сырого промозглого воздуха.

Гоголь подавился глубоким глотком речного, пахнущего кусками грязного, припорошенного угольной пылью льда.

— Напугал? — усмехнулся Розен.

— Немало, откровенно говоря.

— Прошу простить, Николай Васильевич, никак не желал.

— Увольте, — Гоголь взмахнул рукой, — странный у вас, Александр Михайлович, посох в руках. Возбуждает любопытство и рождает разного рода предположения.

— Да, это непростая вещь, — Розен тронул посохом воду, словно прочертил на ней знаки, буквы ли, — хотя на первый взгляд обыкновенная суковатая палка, не правда ли? Но первый взгляд оказывается поверхностным, неглубоким, полностью лишенным проницательности, однако, как того и следует ожидать в такие минуты, воображение оживает, дорисовывая картину яркую, выпуклую, режущую глаза. Да с такой силой, что глаза эти хочется закрыть.

— Полностью с вами согласен!

— Если угодно, расскажу вам историю этого посоха.

И вновь, как еще несколько дней назад, в доме Плетнёва, в этом странном человеке Николай Васильевич, почувствовал ту самую, и ему свойственную долю безумия, но при этом неразрывно связанную с проявлениями крайнего, даже порой чрезмерного психического здоровья.

В чем же это выражалось?

В первую очередь в физиогномических особенностях Розена.

Худое продолговатое лицо его было необычайно подвижно,

но при этом казалось спокойным. Своей худосочностью, которую можно было бы принять и за изможденность, оно более бы подходило человеку болезненному, однако сам облик Александра Михайловича свидетельствовал об обратном. Он был широкоплеч, крепко сложен и более напоминал не советника Коллегии иностранных дел, но морского офицера или конного гренадера.

Стало быть, лицо его являлось вместилищем чего-то сокровенного, того, что тщательно скрывается от окружающих, но нет ничего тайного, что не станет когда-либо явным.

Всякий раз перед тем, как начать говорить, Розен трогал кончиком языка губы, словно проверял таким образом, не пересохла ли она, будут ли они достаточно податливы словам и мыслям, затем большим и указательным пальцами прикасался к подбородку, сводя пальцы в щепоть, слегка, едва слышно откашливался:

— Это, любезный Николай Васильевич, яблоневый посох инока Александра Пересвета, того самого, что погиб на Куликовом поле, приняв смерть в поединке с ордынцем Челебеєм из войска темника Мамаю. Извольте прочесть, — Александр Михайлович протянул Гоголю посох, на котором с трудом, но все же было можно разобрать полустертую надпись: «Безо всякого сомнения, смело выступай против свирепости их, нисколько не утращаешь. Обязательно поможет тебе Бог».

— Как же такое возможно? И как он оказался у вас?

— Он достался мне от моего предка — оружейника царя Петра Алексеевича Альфреда Розена.

— Расскажите, расскажите поподробней, — Гоголь всплеснул руками, явив при этом нетерпение, свойственное натурам впечатлительным, увлекающимся, находящим пищу в разного рода историях. Хотя нет, даже не историях, но причудливо сложенных словах. Например, как сейчас: «Альфред Розен»!

— Эту историю мне рассказала моя матушка — Авдотья Иннокентьевна. Так вышло, что после знаменитого сражения при Малоярославце мой отец — артиллерийский офицер десятого корпуса второй прусской дивизии Михаэль Георг Розен, воевавший в Великой армии, — попал в плен к партизанам. Отряд возглавлял некто Игнат Зотов — человек вспыльчивый, неуравновешенный, в Московском пожаре у него погибли близкие родственники, что, видимо, объясняло его угрюмый характер. Моего отца должны были казнить, но его спасла моя мать, которая приходилась родной сестрой Зотову.

— Невероятная история, Александр Михайлович, просто сие уму непостижимо, но в нашем российском Вавилоне возможно все, абсолютно все! — Гоголь вскочил со скамьи, что была врыта в

землю у самой воды, и принялся расхаживать взад и вперед, заложив руки за спину. Подобные истерические состояния охватывали Николая Васильевича, когда совершенно внезапно на него накатывало возбуждение от замысла некоего нового текста. Да-да, он начинал буквально испытывать физическое удовольствие от того, что целая вереница слов, целая процессия фраз, целый кортеж образов врывались в его сознание, а он прилагал все усилия, чтобы вместить их в себя, не упустить ни одной детали и самой малой подробности. В такие минуты он не мог сидеть, не мог стоять на месте, он начинал бегать, часто дышать, издавать странные нечленораздельные звуки, размахивать руками или, напротив, замком их сцепливал за спиной.

Что и произошло сейчас:

— Простите мою слабость, милейший Александр Михалович, но представляю себе эту картину во всей полноте и красках ее. Особенно сцену казни! Позволите?

— Ну что ж, извольте... — Розен откинулся на спинку скамейки, прислонив к ней посох и сложил руки на груди, — интересно, совпадут ли наши представления и впечатления.

— Утром меня вывели из сарая, в котором содержали после допроса. Сырой хвойный дух вперемешку с дымом костра, что слоями висел над крышами изб и шатров, показался мне необычайно освежающим. Он словно разливался по всему лесу, и партизанский лагерь находился на дне какого-то неведомого водоема, заполненного непрозрачной перламутрового отлива водой. Особенно это чувствовалось после бессонной ночи, когда любое растворенное в тумане изображение принималось за видение, за мираж, а человек — за призрака. Я не знал, куда и зачем меня ведут, но, когда мы вышли на опушку, посреди которой стоял огромный корявый столетний дуб, на ветвях которого висели казненные, мне все сразу стало ясно.

Здесь, под деревом, стоял худой, бородатый, беззубый, в рваной нечистой рубахе, которая открывала его бурую впалую грудь, мужик и сооружал из пенькового троса петлю. Свою работу он делал молча, лишь иногда посматривая на меня из-под своих кустистых, драных, как бока линяющей борзой, бровей. Когда же петля была наконец готова, мужик закричал куда-то в сторону: «Лестницу, скорей подавай лестницу!»

И лестница тут же была подана, ее принес и подставил к дубу рослый кудрявый парень, с чьего лица, кажется, никогда не сходила улыбка...

Тут Гоголь вдруг заговорил заговорщическим шепотом:

— Вы ведь знаете, Александр Михайлович, такой тип лиц, на

которых всегда начертана улыбка или полуулыбка и нет никакой возможности понять — то ли это выражение бодрости душевной, то ли гримаса страдания, даже психического недуга!

— Конечно, Николай Васильевич, конечно, — Розен уперся руками в край скамейки, безусловно, выказывая тем свое нетерпение.

— Так вот, парень установил лестницу, по которой неспешно, со знанием дела, вероятно, даже и пуская ветры от ощущения собственной значимости, стал подниматься мужик. и сразу же при этом он почему-то уподобился лесовику, живущему в дупле векового дерева. Такие деревья, как правило, растут в дремучем лесу, в котором никогда не бывает солнца, но трава там является пеплом, в этом лесу никогда не бывает дождя, но в балках там всегда стоит черная вода, здесь никто не живет, но людские голоса в этом лесу не затихают ни днем, ни ночью, и потому ужас и смятение тут обнимают сердце.

— Елисей, привязывай тут! — закричал парень, указывая на толщенный, почти перпендикулярно отходящий от ствола сук.

— Тьфу на тебя, Митька, не лезь! Сам разберусь, — мужик мрачно зыркнул сначала на меня, потом на веселого парня и принялся старательно прикреплять трос, бормоча что-то при этом себе под нос.

Когда же дело было сделано, то он махнул Митьке рукой, чтобы тот подвел меня под петлю...

— Все, все, Николай Васильевич, увольте, — Розен встал со скамейки и замахал руками, — увольте, картина, нарисованная вами, столь ярка и жизнеподобна, что слушать рассказ дальше просто нет никаких физических сил! Такое впечатление, что вы были там, что вы и есть мой отец, хотя это, разумеется, не так, и его собирались расстрелять, а не повесить, но сам факт! — Александр Михайлович неожиданно резко возвысил голос, — но сам факт того, сколь это живо и правдиво потрясает!

— Как? Неужели все так было? — Гоголь замер на месте и до такой степени вывернул руки за спиной, что слезы выдавились из его глаз.

— Бедный, бедный ваш батюшка, — запричитал Николай Васильевич, — но, насколько я понимаю, Господь отвел его мучительную смерть.

— Да, слава Богу, — Розен в полнейшем изумлении смотрел на плачущего Гоголя, лишь сейчас начиная понимать, сколь неистово и сильно воображение этого человека, способное довести его до подобного совершенно искреннего сострадания и возбуждения.

— О, прошу простить мои нечаянные слезы, — едва

выбираясь из своих всхлипываний и тяжелого дыхания, наконец сумел выдавить из себя Гоголь, — но что же было дальше?

— А дальше, любезный мой Николай Васильевич, уже на подходе к Боровску отряд Игната Зотова напоролся на отступавших французских конных егерей. В ходе короткого и кровопролитного сражения отряд был почти полностью уничтожен, мой дядя Игнат Иннокентьевич был убит, а матушке и тяжело раненному отцу, который сражался вместе с русскими, удалось спастись, и через некоторое время они перебрались в Петербург.

— Истинное Вавилонское столпотворение, — Николай Васильевич сел на скамью, закрыл лицо руками и довольно отчетливо прошептал:

— И внезапно сделался шум с неба,
Как бы от несущегося сильного ветра,
И наполнился весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,
И почили по одному на каждом из них...

Розен взял посох, подошел к самой кромке воды и со всей силы ударил им по ней. От резкого, вспоровшего тишину всплеска Гоголь еще более спрятался в ладони, сгорбился, его спина и плечи содрогнулись, словно их били рыдания. Или смех?

— Странное, знаете ли, испытываю ощущение — словно наношу удары и не по воде вовсе, но по живым существам, кои окружают нас и мучают, — неожиданного проговорил Александр Михайлович.

— Мучают?

— Да-да, позволю себе утверждать, истязают и глумятся над нами. Речь, само собой, веду о подсознательном, о невидимом, о том, что нас окружает исподволь, что рядится в личины обыденности, но, как учат Отцы Церкви, следует недерзновенно постигать науку различения помыслов, отбора зерен от плевел.

— Не вполне понимаю, о чем вы говорите, — Гоголь очнулся и тут же почему-то почувствовал внутри себя некое незначительное, но неотвратимо нарастающее раздражение.

— Поясню с удовольствием!

— Да, пожалуйста...

— Если вы, дорогой Николай Васильевич, полагаете, что я держу в руках обыкновенную яблоневую палку, которой по недомыслию ли, по скудоумию бью по воде, то вы глубоко ошибаетесь!

— Вот как? — Гоголь отнял ладони от лица, всплеснул руками и улыбнулся, но сделал это как-то вымученно, буквально выдавил улыбку из себя.

— Да-да, не смейтесь, это необычный посох! Это не просто музейный экспонат, оказавшийся в нашей семье по воле случая.

— И в чем же его необычность, позвольте полюбопытствовать?

— Прежде чем отвечу на ваш вопрос, доложу, что вот в этом-то и есть умение отличить истинное от ложного, рассматривать невидимое, почитая его вполне банальным для обыденного взгляда, но при этом осознавать, что мир не делится только на белое и черное. Полутона, диссонансы, недосказанность, полуправда...

— Как такое возможно?

— Возможно, дорогой Николай Васильевич, возможно, — Розен вытянул руку с посохом над водой и разжал пальцы, — дерево тонет в воде.

Посох камнем ушел на мелководье и, движимый речным течением, стал медленно перемещаться по дну, оставляя на нем продолговатый, змееподобный след, что извивался, как полоз, то пропадая, то вновь проявляясь в ослепительных солнечных бликах.

— Этот посох и есть время, есть средоточие страстей — благородства и подлости, любви и ненависти, великодушия и зависти, которые мы обречены влачить до конца наших дней. Ударяя им по воде, я ударяю по самому себе, по вам, Николай Васильевич, точнее сказать, по вашему желанию умалиться и быть ниже того, к чему вас призвал Господь.

С этими словами Розен зашел в воду и достал посох со дна.

— Можете убедиться, он совершенно сухой!

Уже вечером, возвращаясь к себе домой на Столярный переулок, Николай Васильевич вновь остановился у собора на Сенной.

Минувший день казался ему невероятным, невысказанным. Образы и события путались в его голове, сменяли друг друга, и не было никакой возможности остановиться на чем-то одном, сосредоточиться, выбрать основной сюжет, чтобы хоть как-то восстановить хронологию событий.

Абсолютно оцепеневшим взором Гоголь смотрел на уходящую в небо каменную громаду собора, перед стенами которой он казался таким ничтожным. Но ведь были же Розеном сказаны слова — «ударяя посохом по воде, я ударяю по самому себе, по вам, Николай Васильевич, точнее сказать, по вашему желанию умалиться и быть ниже того, к чему вас призвал Господь».

— А ведь знаю, знаю точно, к чему меня призвал Бог! — Николай Васильевич огляделся. В бледных и блеклых сумерках, что были едва подсвечены масляными фонарями, на ступенях

притвора, обхватив голову руками, сидел человек. При взгляде на него тут же вновь вспомнились слова Александра Михайловича о тех живых существах, что окружают и мучают нас.

— А не шарлатан ли этот Александр Михайлович Розен? — Гоголь почти задохнулся от этой мысли, истово завертел головой, словно прогоняя ее от себя.

Закрыв глаза, затем открыл — на ступенях притвора Успенского собора уже никого не было».

Глава 7

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «Я люблю шарлатанов. Они незаурядны. Они даже гении, только их гений направлен не на созидание...»

24 декабря 1962 года состоялось заседание Идеологической комиссии ЦК КПСС с участием молодых писателей, художников, композиторов, творческих работников кино и театров Москвы, которое открыл член ЦК КПСС, председатель идеологической комиссии ЦК КПСС, доктор философских наук, лауреат Ленинской премии, автор лозунга «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», известный коллекционер западноевропейской живописи Леонид Федорович Ильичев.

Это был невысокого роста полный лысый человек с пронзительным и пристальным взглядом, ироничный, умеющий слушать и слышать, что его выгодно отличало от Никиты Сергеевича Хрущева, который в то время полюбил встречаться с творческими людьми и распекать их так, словно перед ним были нерадивые второгодники из начальной школы.

После общих слов о руководящей и направляющей роли партии, о ее отеческой заботе, которую не могут не ощущать на себе «инженеры человеческих душ», перешли к докладам участников, вернее, к прослушиванию слов благодарности, которые вырывались не иначе как из самых глубин сердец приглашенных на Комиссию творческих работников.

Василий Павлович Аксенов: «Наше единство в нашей марксистской философии, в нашем историческом оптимизме, в нашей верности идеям XX и XXI съездов. Напрасные попытки некоторых недобросовестных критиков представить нас как нигилистов и стилиг... говорят о том, что советская молодежь, советские литераторы молодые не помнят своего родства, что мы отвергаем то, что завоевано нашими отцами, что мы не уважаем своих отцов, что вообще советская молодежь, дескать, противопоставляет себя своим отцам, особенно любит такие выводы на Западе буржуазная реакционная пресса. Я благодарен партии и Никите Сергеевичу Хрущеву за то, что я могу с ним разговаривать, за то, что я могу с ним советоваться».

Евгений Александрович Евтушенко: «Я хотел бы сказать, что наша молодежь ощущает большое доверие партии, доверие нашего народа. И сам факт сегодняшнего собрания — это тоже показательно. Партия оказала нам доверие, она хочет услышать наши раздумья, наши внутренние сомнения».

Белла Ахатовна Ахмадулина: «В тех словах, с которыми обратилась к нам, молодым и не очень молодым художникам партия и правительство, мы все уловили момент какого-то беспокойства по поводу нашего состояния и состояния нашего искусства. Я думаю, что это доброе и оправданное беспокойство... Мы полны доверия к вам, мы полны желания работать вместе... мы готовы сделать для своего искусства, для своего народа все, что мы можем».

Практически исповедальный тон совещания был, впрочем, нарушен Леонидом Федоровичем Ильичевым, который в воспитательных целях решил перейти от просушивания покаянных и в высшей степени верноподданических речей к дидактике и менторскими тоном неожиданно изрек:

— На мой взгляд, в серьезном конфликте со всем строем нашей жизни находятся некоторые песни Булата Окуджавы и стихи, на которые они написаны...

О сути «серьезного конфликта» ничего по существу сказано не было, в первую очередь главного идеолога страны не устроили все эти «бездельники и шлюхи», вся эта «золотая молодежь», которую якобы воспевают тов. Окуджава, тогда как молодежи Страны Советов нужны другие герои.

Слово взял Булат.

Как всегда, говорил негромко и неспешно.

Доложил, что никогда ни о чем подобном не писал, что тут вкралась какая-то ошибка, потому что он фронтовик, член партии, учитель из Калуги, который знает советскую молодежь лучше, чем многие из собравшихся в этом зале.

В наступившей абсолютно гробовой тишине слова Ильичева прозвучали если не примиряюще, то, по крайней мере, с интонацией неожиданного уважения к докладчику:

— Вы член партии. Мыслите как-то широко, хорошо. Но зачем в музыке, зачем в приемах, к которым вы прибегаете, элементы не оздоравливающие, не вдохновляющие, а расслабляющие. Может быть, это вкусовое...

А ведь так разговаривать Булата научили в арбатском дворе — односложно, смотря исподлобья, не отводя взгляд, вставляя при этом в свою негромкую речь какое-то важное, ключевое слово или фразу, после которых разговор сразу принимал совсем иной поворот и Окуджава сразу становился своим, совершенно при этом не подстраиваясь под обстоятельства, но создавая их.

В конечном счете всякий конфликт (спор) и взаимное неприятие, по мысли Булата Шалвовича, есть борьба бездарных людей с талантливыми. Причем абсолютно неважно в какой среде этот конфликт возник — на заводе или в институте, в войсковой

части или издательстве, в министерстве или колхозе. Тут самое главное — полное и абсолютное понимание своей правоты как высшего проявления таланта перед лицом зависти, глупости и пошлости.

Лицо же это, как правило, не отличается от сотен и даже тысячи физиономий без выражений и свойств: сходный набор мимики и жестов, фраз и поступков. Просто они смертельно боятся тех, кто талантливей их, и оттого люто ненавидят их.

Впрочем, всякий конфликт чреват многими искушениями, жертвой которых могут стать именно противостоящие пошлости и хамству, могут ошибочно счесть низость и подлость единственными способами борьбы с низостью же и пошлостью.

Пожалуй, единственным антидотом тут может стать чувство собственного достоинства (воспитанное родителями, друзьями, обстоятельствами), под которым следует понимать житейскую мудрость, умение идти на компромиссы, но при этом не изменять себе и избранному пути.

*У поэта соперника нету
Ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
Это он не о вас — о себе.*

*Руки тонкие к небу возносит,
Жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощенья просит...
Это он не за вас — за себя.
Но когда достигает предела,
И душа отлетает во тьму
Поле пройдено, сделано дело...
Вам решать: для чего и кому.*

*То ли мед, то ли горькая чаша
то ли адский огонь, то ли храм...
Все, что было его — нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.*

Мы уже не раз говорили об уверенности Булата в том, что все, что делается поэтом для себя, не на потребу и не на заказ, есть предмет вечности, чего-то запредельного, неподвластного пониманию обывателя.

Однако в этих строках, написанных в 1986 году, впервые на

смену поэту-небожителю приходит поэт-страдалец, поэт-заложник того рубежа, края ли, над которым он не властен.

Причем, как думается, речь тут идет не столько о смерти физической, сколько о кончине духа, что «отлетает во тьму», так и не перейдя поле, бескрайнюю долину или крутогорье.

Читаем в романе Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «Мне страшно вспомнить себя на том пригорке в наброшенном на плечи овчинном тулупе, в овчинной же мужичьей шапке с синей суконной тульей... и эта снежная сцена, на которую бесшумно валяются один за другим все, все, где убийц убивают и их убийц убивают тоже, а за ними уже спешат новые... И тот, кто крутит это колесо, ввергает их в преступления, связывает их по рукам и ногам, и у них уже нет сил отрешиться».

Да, тот, «кто крутит это колесо», постоянно следит за тобой, и выйти из этого круговорота, из этого замкнутого круга уже невозможно.

Особенно Булат осознал это, когда появились его первые публикации на Западе. В 1962 году повесть «Будь здоров, школяр» вышла в Польше и Франции, а с 1964 года по линии бюро пропаганды советской литературы СП СССР начались регулярные поездки в Европу, а впоследствии и по остальному миру.

Понятно, что эта сфера жизни советского человека (а советского писателя особенно) всегда находилась под пристальным вниманием «комитета».

Не являясь человеком этой системы, но в то же время, имея в кармане партийный билет и билет члена СП СССР, Окуджава был вынужден маневрировать между Сциллой и Харибдой, неустанно примеривая на себя различные маски — от литературного функционера до вольнодумца и бунтаря, от твердокаменного партийца до сомневающегося либерала. Понятно, что вся эта суэта, не имевшая к творчеству никакого отношения, отнимала много сил, времени и нервов.

Серьезные проблемы с «конторой», чего и следовало ожидать, возникли у Булата в 1964 году после публикации им в журнале «Посев» — органе народно-трудового союза российских солидаристов, выходившем во Франкфурте-на-Майне, своих текстов. Хотя, что интересно заметить, поездки за границу тогда не прекратились, а публикации в СССР и поездки по стране с выступлениями не были запрещены.

Видимо, еще была свежа в памяти «дерзкая выходка» переделкинского отшельника в 1957 году с публикацией на Западе его романа «Доктор Живаго», и совписы, что и понятно, взрывовали, а «комитет» тут же среагировал.

Известно, что первый вызов Булата в МГБ СССР случился

в 1947 году, когда студенты-филологи Тбилисского государственного университета имени Сталина собирались на квартире Окуджавы, где читали стихи и обсуждали их. Тогда за организацию подпольного литературного кружка («Соломенная лампа», «Маяковцы») его участники заплатили дорого — студенты Софианиди, Цыбулевский и Силин были арестованы.

Булат же отделался вызовом в Большой дом на Леси Украинки и предупреждением о том, что если он не хочет повторить судьбу своих отца и матери (фамилии Окуджавы и Налбандян были хорошо известны в Тбилиси), то ему стоит прекратить проведение этих «поэтических сборищ».

Окуджавы внял совету.

Но прошли годы, и теперь к разговору в КГБ был приглашен не 23-летний студент из семьи репрессированных, а известный поэт, член партии и СП СССР.

Отношение Окуджавы к «конторе» менялось и, можно утверждать, в полной мере отражало его внутреннее состояние, эмоциональные перепады, связанные с драматическими событиями в личной жизни, с постоянным внутренним напряжением, свойственным любому художнику, который находится в творческом поиске, а также с бурной профессиональной деятельностью — концертами, поездками, выступлениями.

Сохранившиеся источники и воспоминания самого Булата Шалвовича о том времени в полной мере отражают эти метания, эти попытки спастись от самого себя в первую очередь.

Конец 60-х.

Из интервью Б.Ш. Окуджавы:

«Утром телефонный звонок:

— С вами говорит полковник госбезопасности Володин.

Я чуть в обморок не упал.

— Булат Шалвович, надо встретиться.

— Хорошо.

— Ну, давайте в десять утра.

И тут меня зло вязло, что я так тупо на все соглашаюсь.

— Нет, — говорю, — в одиннадцать!

— Хорошо, запишите адрес.

И когда он повесил трубку, я вдруг сообразил, что сегодня среда и до понедельника я должен ломать себе голову, в чем провинился.

Жуткие были дни...

В понедельник я взял такси и поехал... Приезжаем... Вижу коробку со стеклянным входом. За столиком сидит капитан. Я

робко что-то спрашиваю. Он строго: «Окуджава?». Да. Звонит по телефону: «Окуджава пришел...»

Вдруг вижу: по лестнице спускается молодой человек в черном костюме с непроницаемым лицом. «Здравствуйте, Булат Шалвович. Пожалуйста, пройдемте». Входим в какую-то комнату. Навстречу поднимается мужчина в джемпере. «Здравствуйте. Я полковник Володин». И приказывает молодому человеку: «Помогите Булату Шалвовичу снять пальто!» Я, наконец, перевожу дух: кажется, не арестуют.

Оказалось, что польская госбезопасность арестовала моих друзей: Адамя Михника, Яцека Куроня... И прислала московским коллегам вопросник на меня. Но московские комитетчики отнеслись к работе формально...

На другой день встретились, я подписал какой-то липовый протокольчик. Вышел на улицу. Закурил. Мимо шел прохожий. И я спросил у него, указывая на помещение, из которого вышел: «Скажите, а что это?» Он посмотрел на меня, как на идиота: «Как что? Лефортовская тюрьма!»

Начало 70-х.

27 марта 1972 года генерал-лейтенант КГБ, секретарь Московского отделения Союза писателей Виктор Николаевич Ильин вызвал Окуджаву на партком МО (Московское отделение) СП с требованием отмежеваться от заграничных изданий, признать свои «политические ошибки» и подписать письмо против эмигрантского журнала «Посев».

По воспоминаниям свидетелей, Булат держался дерзко. Он категорически отказался писать какую бы то ни было «повинную» и якобы сказал в сердцах: «Мне одинаково надоели и они, и вы!»

Эти слова прозвучали провокативно, ибо местные особисты и партаппаратчики ставились на одну доску с западными службистами и издателями.

Реакция собравшихся на парткоме последовала незамедлительно.

Писатель, лауреат Ленинской премии, активный участник травли Бориса Пастернака Сергей Сергеевич Смирнов предложил исключить тов. Окуджаву из партии. К чему, впрочем, Булат отнесся индифферентно, что впоследствии нашло свое объяснение. За поэта вступились Константин Симонов, а также, не без участия Евгения Евтушенко, первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Васильевич Гришин.

«Наверху» исключение писателя-фронтовика из партии сочли неуместным, и совписовская истерика улеглась сам собой.

Следует заметить, что схема давления на членов творческих

союзов в СССР была хорошо отработана, и в 1960–1970-х годах действовала четко и бесперебойно, как хорошо отлаженный механизм.

Умело играя на амбициях писателей и литературных критиков, поэтов и драматургов, журналистов и режиссеров, композиторов и живописцев, стравливая их между собой, расслаивая творческую среду по социальному признаку (кому-то дача в Переделкино, кому-то мастерская на Масловке, кому-то квартира в Лаврушинском), система успешно рулила процессом, используя старый как мир метод «кнута и пряника», постоянно держа творцов в напряжении и нервном возбуждении.

Созданная властью система коммуникации «сверху донизу и снизу доверху» (речь идет о взаимной слежке и доносах друг на друга) не оставляла, в частности, литераторам шансов на альтернативное волеизъявление.

Впоследствии Булат Окуджава скажет: «Уже в 1959 году я понял, что совершил ошибку (вступив в КПСС). Коммунистом себя не ощущал, и, вообще, какой я был член партии в общепринятом тогда понимании? Но выйти из нее не мог: со мной бы разделались и семью бы не пощадили».

Игра по установленным правилам была залогом как творческой, так и бытовой стабильности, это понимали все, и слова, вынесенные Булатом в эпиграф своего романа «Путешествие дилетантов», — «Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть. Правила хорошего тона», — не всегда становились панацеей от бед и неизбежных конфликтов.

Читаем у Ирины Живописцевой: «У него (у Окуджавы) не было комплексов, он внутренне был свободен от предрассудков, уверен в своем праве поступать так или иначе. Он ставил личность выше всего. Может, талант так и реализуется? К вершинам через тернии, но эти тернии больше всего терзают самых близких и дорогих людей».

В данном случае важно понимать, что речь идет именно о личности художника, творца, поэта, которая и является абсолютом, достижение которого может быть разным, но всякий раз оправданным стремлением к чему-то высшему, недоступному и недостижимому для обывателя (а в случае с Окуджавой — для советского обывателя).

Еще со времен работы в «Молодой гвардии» и «Литературной газете», нарабатывая профессиональные навыки редактора, заведующего отделом поэзии, Булат всячески пытался усвоить алгоритм стихосложения в качестве важнейшей части поэтического мышления и бытования в целом. По словам друзей, ему было крайне важно, как сделаны стихи, из чего они сделаны.

Для Окуджавы это было своего рода ремеслом, в котором он стремился дойти до вершин, то есть до полного понимания тайн мастерства. В этом своем движении Булат Шалвович был непреклонен, неистов и упрям.

Вполне возможно, что, разбирая стихи коллег по цеху, он вспоминал в свою очередь студенческие годы в Тбилиси и Шурку Цыбулевского «с буйной рыжей шевелюрой, с длинным, правильной формы носом, по-юношески нескладным лицом и хорошей фигурой», признанного на курсе знатока и любителя поэзии. Вспоминал, как Цыбулевский препарировал его сочинения, становясь при этом безукоризненно вежливым, корректным, но абсолютно отстраненным.

Выступать в роли критика и самому быть объектом критики.

Нести ответственность за сказанное, испытывать ощущение власти над чужим текстом.

Страдать от незащитности и гордости, надменности и безразличия.

Входить в ипостаси, оказаться в которых — большое испытание для поэта.

И, как следствие, — непонимание, растерянность, раздвоение и даже помрачение сознания, когда, с одной стороны, видишь восхищение и обожание тысяч поклонников и поклонниц, а с другой — неприятие коллег (и даже друзей) по поэтическому и литературно-критическому цеху.

Читаем у Станислава Куняева: «Слишком на большую аудиторию он работает, чтобы позволить себе роскошь быть самим собой... Эстрадно-песенная колея почти всегда чревата некоторой долей пошлости... Простая неряшливость, идущая от скороговорчивости, от многословия, от приблизительного знания того, что хочешь сказать... полуграмотная расхристанность поэтического языка... Фотография немолодого уже человека с усталым взглядом; ему холодно, его шея обмотана шарфом. Он стоит на фоне города, утопающего в дыму и в морозном тумане».

Эти слова произвели на Окуджаву тяжелое впечатление.

Особенно он был удручен тем, что написаны они были, как казалось Булату, серьезным литературным критиком, ко мнению которого многие прислушивались (да и сам он тоже прислушивался до поры).

Еще одним ударом стали напечатанные в «Литературной газете» статьи Владимира Бушина, которые были посвящены прозаическим сочинениям Булата Шалвовича «Бедный Авросимов» и «Путешествие дилетантов».

Первая из этих статей начиналась такими словами: «В один прекрасный день поэт-гитарист Булат Окуджава, почти совсем

оставив песни, лучшие из которых снискали ему большую популярность, вдруг принялся писать романы и повести из русской жизни прошлого века. Все они публиковались в журнале «Дружба народов».

Роман «Бедный Авросимов» — первый из них — вызвал несколько противоречивые суждения критики. Одни, как главный редактор упомянутого журнала, уверяли, что это «новое слово» в нашей литературе; другие позволили себе, видите ли, иронические сомнения».

Главным редактором «Дружбы народов» в то время был Сергей Алексеевич Баруздин, секретарь правления СП РСФСР и СП СССР, который якобы начал публиковать прозу Окуджавы в журнале в обход мнения редколлегии.

Конфликт, зародившийся в недрах ДН, получил развитие уже на страницах «Литературки», где поэт Михаил Синельников и главный редактор газеты Александр Чаковский опубликовали статью литературного критика Владимира Бушина, члена редколлегии «Дружбы народов», чем вынесли внутрикорпоративную свару на всеобщее обозрение.

Все это более напоминало не столько факт литературной дискуссии, сколько выяснение отношений между главредами, орденоносцами и секретарями правления СП.

Интересно, что к первой публикации В.С. Бушина Булат отнесся с пониманием и, встретившись с ним в ресторане ЦДЛа, даже согласился с некоторыми замечаниями критика. Однако вторая погромная статья, вышедшая все в той же «Литературке», породила настоящий писательский скандал, имевший для некоторых его участников печальные последствия.

На сей раз, по словам свидетелей, Окуджава не выдержал беспочвенных, на его взгляд, обвинений Бушина и написал письмо в правление СП с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, которая более напоминает травлю, также он высказал предположение, что текст был написан коллективом авторов, перед которыми была специальная задача (кем поставленная?) разделаться с ним как с прозаиком. Оргвыводы не заставили себя долго ждать — Владимир Бушин был уволен из журнала «Дружба народов» и лишен возможности публиковаться в советской периодической печати.

Едва ли Булат Шалвович предполагал, что ответом на его просьбу о защите станут подобные драконовские меры, но дело было сделано. Спустя годы этот инцидент перерастет в неразрешимый и жесткий конфликт между Окуджавой и литераторами радикально-патриотических и почвенических убеждений, к лагерю которых принадлежал и Бушин.

Но на самом деле и писатель Б.Ш. Окуджава, и литературный критик В.С. Бушин стали заложниками, разменными фигурами большой писательской игры. Это происходило в те годы постоянно и повсеместно. Достаточно вспомнить показательные процессы над Иосифом Бродским, за которыми стоял обычный дележ руководящих постов в Ленинградском отделении СП СССР между Александром Прокофьевым и Михаилом Дудиным.

Аппаратная война, которая еще с тридцатых годов шла в Союзе советских писателей на разных уровнях, вовлекала в свои окопы людей, пришедших в литературу с абсолютно искренним желанием творить, создавать поэтические или прозаические тексты, публиковаться и общаться с читателями.

Однако воспоминания о словах Леонида Соболева — писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии: «Партия и правительство дали писателю всё, отняв у него только одно — право писать плохо» навевали, безусловно, ощущение запредельного. Получить все, но утратить при этом свободу творчества, потому как лишь партия может принимать решение о том, что написано хорошо, а что плохо, что нужно советскому читателю, а что ему категорически противопоказано.

Обращение к исторической теме в своем творчестве стало для Окуджавы, думается, явлением закономерным и вполне объяснимым.

С одной стороны, это была единственная возможность избежать топорного идеологического прессинга и окриков «конторы», потому как куртуазные картины из жизни первой половины русского девятнадцатого века не вызывали такого пристального к себе внимания идеологов разных уровней.

Но с другой стороны, и это наблюдение кажется много более важным, «благородный» XIX век давал Булату Шалвовичу единственную возможность в современном ему литературном процессе уйти во внутреннюю эмиграцию, причем, ни в коей мере не идеологическую или политическую, но исключительно личную, давал единственную возможность спрятать от докучливого взгляда многотысячных стадионов и концертных залов, секретарей СП и главредов свою войну, свои страхи, комплексы (вопреки словам о том, что их у него не было), свои переживания и драмы. Иными словами то, о чем никому нельзя говорить, даже самым близкими и родным людям.

В конечном счете речь зашла об отрицании реальности, что, по мысли Фрейда, является защитным механизмом, отменяющим существование угрожающих внешних факторов. Наиболее распространенным, частным случаем вытеснения, как известно, становится отвержение неким «Я» существования ситуаций,

несущих тревогу, или же компенсаторная замена их на воображаемые, мифологические ситуации и сюжеты — например, бегство в мир грез.

*Были дали голубы,
Было вымысла в избытке.
И из собственной судьбы
Я выдергивал по нитке.
В путь героя снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
Сам себя воображал.*

А ведь наводил справки, некоторые из которых носили вымышленный характер.

Например, родился на Арбате, откуда ушел на войну, куда и вернулся, и где прожил всю жизнь. Называл себя в этой связи «дворянином с Арбатского двора», а это свое состояние — «арбатством, растворенным в крови».

Именем Дориан в честь главного героя известного мистического романа Оскара Уайльда его якобы именовали родители, отдавая тем самым дань моде середины двадцатых годов на «вечную молодость», «вечную красоту» и бессмертие, дарованное всесильной и передовой наукой.

Задумывался над словами О. Уайльда: «Совесь и трусость, в сущности, одно и то же».

Читал и словно бы сам писал такие строки: «Я оглянулся и впервые увидел Дориана Грея. Когда мы встретились взглядами, я почувствовал, как бледнею. Меня охватило странное чувство страха. Я понял, что встретил того, чья личность настолько захватывающая, что если я позволю этому случиться, она может поглотить всю мою природу, мою душу и само мое искусство».

Появление в мифологии Окуджавы образа Дориана Грея неслучайно. Дело в том, что подсознательное формирование защитного, компенсаторного механизма сознания маленького Булата шло на фоне (что и понятно) безрелигиозного мировидения его родителей. Причем, в данном случае речь идет не столько об атеизме в его пассивной и безобидной фазе, сколько о богоборчестве и конструировании новой религии, новой морали, нового стиля жизни вообще.

Спустя годы Окуджава скажет: «Я был воспитан в атеизме строгом».

Душу человека, согласно новой идеологической и философской доктрине могут и должны были поглотить продуктивные страсти борьбы за светлое будущее в силу ее (души) вторичности, иллюзорности и нематериальности.

Так, индивид, окрыленный идеей создания принципиально нового справедливого общества, обретал черты демиурга, властного над временем и пространством, дарующего «жизнь вечную» человечеству.

Новая марксистская мистика, замешанная на иудео-христианской и одновременно ницшеанской традиции «умершего бога», на смену которому пришла «сильная личность», давала изрядную пищу для фантазийного аппарата, для перераспределения обязанностей человека и Спасителя, художника и Творца Вселенной.

Мы помним *октябрины*, которые Ашхен Степановна устроила своему новорожденному сыну на Трехгорке, когда малышу дарили погремушки и пеленки, пели «Интернационал», пионеры дудели в горны и носили вырезанные из картона красные звезды, а молодая мать перед лицом парткома мануфактуры клятвенно заверяла собравшихся, что воспитает сына в духе преданности делу трудящихся во всем мире. Большевицкий парафраз крестин, одного из семи таинств Церкви, лежал в основании новой советской мифологии, номинативно опиравшейся на библейские заповеди (не укради, не убий, не лжесвидетельствуй), но парадоксальным образом возводимой на богоборческом и оттого профанном, абсолютно иллюзорном фундаменте.

Будучи человеком эмоциональным, тонко чувствующим и думающим, Булат с возрастом пришел к осознанию своего тотального неприятия именно советского мифа (который для его родителей стал смыслообразующим и даже в чем-то избыточным), и, как следствие, приступил к созданию своей мифологии, своего космоса, в котором ему (и только ему!) должно было быть комфортно и покойно.

По сути, на смену живой реальности (как к ней не относиться) пришла, по словам Достоевского, «арифметика», некий конструкт, вытеснивший, подменивший ли объективные факторы на вымышленные. При том, что неизбежное столкновение «благого» мифа и «свинцовой» советской реальности приводило к депрессиям, сумеречным состояниям, паническим атакам, к метаниям, истерическому ненахождению себе места, что часто доходило до крайне нервного возбуждения, приводящего к срывам, совершенно ломало психику. Во всем этом наблюдалась симптоматика поведения человека больших дарований, а также склонного к творчеству.

Всеми этими качествами, как мы помним, не в меньшей степени был наделен младший брат Булата Виктор.

Булат Шалвович настойчиво препарировал себя как художник (перестав писать стихи, перешел к прозе) в надежде обрести счастье свободного самовыражения, творческого жеста-поступка. Однако в мифологической парадигме (априори лукавой и концептуально вторичной) сделать это было практически невозможно.

*Минувшее мне мнится водевильным,
крикливым, как пасхальное яйцо,
под ярмарочным гримом под обильным,
лубочное блестит его лицо.
Потряхивая бутафорским, пыльным
отрепьем то военным, то гражданским,
комедиант взбегают на крыльцо
и голосом глухим и замогильным
с каким-то придыханием бессильным
вещает вздор, сивухой томим...
Минувшее мне видится таким.*

Безусловно, Булат Шалвович отдавал себе отчет в том, что «жертвой пал пустой забавы, с которой с детства кем-то связан был».

И даже находил тому подтверждение, как то — роман «Ю-Шин доброволец» (о борце за дело трудового народа Ю-Шине и его возлюбленной Дин-Лин), над которым работал в 11-летнем возрасте в Нижнем Тагиле, уже тогда видя себя писателем, а вернее сказать, сочинителем.

Однако с годами приходило понимание того, что жить в этом придуманном мире невозможно, а сочинение историй из жизни кавалергардов, благородных офицеров-декабристов, а также столичных аристократов первой половины XIX (разумеется, красивых как Дориан Грей) века лежит на поверхности и не позволяет «выкрикнуть слова» из глубины, что давно ждут своего часа, томятся и томят своего сочинителя.

В этой связи думается, что последний роман Окуджавы «Упраздненный театр» стал попыткой вышагнуть из этого мифа, упразднить давно обветшавший театр, выйти к читателю из годами возводимых им же самим кулис и рассказать о себе, как это уже было однажды на «Тарусских станицах» в повести «Будь здоров, школяр».

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Упраздненный театр»: «Не думал я, пускаясь в плавание, что мое родословное дерево приобретет постепенно столь обременительный, столь вероломный характер. Ветви его, благообразные на первый взгляд, оказались чудовищами, густо заросшими листвой имен, каждое из которых — целая жизнь, нуждающаяся в объяснении. И весь этот наполовину пожухлый, потускневший ворох полон еще, оказывается, тем загадочным веществом, которое неистовствует и нынче и требует к себе внимания, и теребит твои заурядные способности, и умоляет все осознать, понять, разложить по полочкам.

Люди, уважающие себя, вернее, преисполненные чувства собственного достоинства (нет-нет, не амбициозные и гордые, а потому напыщенные, чванливые — нет... именно полные достоинства, а значит, способные уважать нас и даже восхищаться пусть не великими нашими качествами, даже служить вам возвышенно и красиво), такие люди не забывают своего прошлого, не отбрасывают его на обочину с усмешкой или высокомерной гримасой. Стараюсь учиться у них».

Глава 8

В один из весенних дней 1962 года в дом физика-ядерщика, академика, Героя Социалистического Труда, кавалера на тот момент Сталинской и Ленинской премий Льва Андреевича Арцимовича на улицу Пехотную 26 приехал Булат Окуджава. Приехал он не один, а с Галиной Васильевной, с которой на тот момент они уже жили раздельно, но «в свет» изредка выбирались вместе.

Семья Льва Андреевича проживала в так называемых «Курчатовских дачах», жилком комплексе, возведенном в 1950 году по личному указанию Сталина для ученых, принимавших участие в разработке советской ядерной программы.

В тот вечер в гости к академику Арцимовичу пришли его коллеги и друзья Петр Леонидович Капица и Артем Исаакович Алиханян.

Пришли «на Окуджаву».

После пышного, но изысканного застолья, произведшего, надо думать, на Булата и Галину Васильевну соответствующее впечатление, поэту и музыканту протянули специально для того случая приготовленную гитару (у Окуджавы в ту пору своей гитары не было).

«Полночный троллейбус» и «Сентиментальный марш» были встречены слушателями с восхищением и благодарностью. Музыкально-поэтическая программа заняла около часа, после началось так называемое неформальное общение в кулуарах гигантского двухэтажного особняка.

Булат огляделся — Галина беседовала с Артемом Алиханяном, Лев Андреевич и Петр Леонидович оживленно обсуждали только что услышанные песни, было видно, что они произвели на них сильное впечатление.

— Здравствуйте.

Булат обернулся — перед ним стояла красивая молодая блондинка.

Он обратил на нее внимание, еще когда они только вошли в эту квартиру, но потом застолье (они оказались по разные стороны стола), а затем выступление не позволили ему подойти к ней и познакомиться.

— Добрый вечер.

На первый пришедший в голову вопрос о том понравились ли ей прозвучавшие песни, незнакомка с довольно дерзкой усмешкой ответила Булату, что они в принципе неплохи, но явно не предназначены для этих слушателей и обвела взглядом

собравших ученых мужей.

Окуджава пожал плечами:

— В таком случае, позову вас, когда буду петь своим друзьям.

— Договорились.

— Кстати, меня зовут Булат.

— Я это уже поняла, а я, кстати, Ольга.

Уже в дверях, провожая гостей, Лев Андреевич дал Окуджаве свой номер телефона в той надежде, что это не последняя их встреча и что в случае необходимости он может смело звонить ему в любое время.

Такая необходимость возникла уже утром следующего дня.

Узнав от Ольги, что она приехала к своему родному дяде на неделю из Ленинграда, где и живет, он решился набрать ее, вернее, академика Арцимовича, номер.

Договорились встретиться вечером в ресторане ЦДЛ.

Всякий раз оказываясь здесь, Булат конечно вспоминал, как вместе с Сергеем Сергеевичем Наровчатовым пришел сюда в первый раз.

Яркий электрический свет, официанты, улыбающиеся женщины, которых принято называть «шикарными», видимо, писательские жены, сияющие неземной белизной тарелки со стилизованным инсткриптом «Литфонд», Михаил Светлов в клубах папиросного дыма, вальяжный Семен Кирсанов, у которого только что в Госиздате вышло двухтомное собрание сочинений, Евгений Евтушенко в окружении загадочных поклонниц, и, конечно, эти нескончаемые разговоры изрядно захмелевших посетителей (писателей то есть) о своем творчестве, разговоры истовые, на грани скандала, а порой и драки.

На сей раз в ресторане было пустынно.

Совершенно не зная Москвы, Ольга заблудилась и опоздала почти на час, Булат подумал, что она уже не придет.

Все это время Белла Ахатовна Ахмадулина, пришедшая вместе с Окуджавой, успокаивала его, уверяла, что встреча непременно произойдет, а после появления Ольги изящно, что ей было свойственно во всем, ретировалась.

Итак, Булат и Ольга остались вдвоем.

Беседовали долго, часа три или четыре.

Обо всем — о поэзии, о музыке, о кинематографе, рассказывали о себе на удивление откровенно, хотя виделись, по сути, в первый раз.

Булат вспоминал Арбат, Нижний Тагил, Тбилиси, Моздок, Шамордино, Калуга, Москва и много курил.

Ольга оказалась питерская.

Отец — кинорежиссер, поэт Владимир Георгиевич Лебедев-

Шмидтгоф, автор песни «Эх, хорошо в стране советской жить!», был арестован в 1938 году, но через год освобожден, потом война, эвакуация, скончался в Свердловске в возрасте 44 лет (в этом же городе, как мы помним, в возрасте 36 лет был расстрелян и Шалва Окуджава).

Мать — Вера Андреевна Арцимович, актриса, сестра академика Арцимовича.

Согласно семейному преданию, именно благодаря ее немислимым усилиям (она добилаcь встречи с М.И. Калининым и доказала, что ее муж невиновен) Владимир Георгиевич был выпущен на свободу.

И еще одно, как видим, странное совпадение — Ашхен Степановна Налбандян тоже якобы добилаcь личной встречи с Л.П. Берией в надежде убедить Первого секретаря Тбилисского горкома КП (б) Грузии, что Шалико Окуджава невиновен. Однако тогда в 1937 году все закончилось трагедией — Шалва Степанович был расстрелян, Ашхен арестована.

Итак, в Ленинграде вместе с матерью и братом Ольга жила в домах физтеха имени А.Ф. Иоффе на Ольгинской улице.

Изначально квартира здесь принадлежала Льву Андреевичу, но после его переезда в Москву она досталась его сестре Вере Андреевне и его племянникам Ольге и Юрию.

В том, что в 1962 году Ольга Владимировна заканчивала именно физфак ЛГУ имени Жданова, не было ничего удивительного — влияние Льва Андреевича и его окружения не могли не сказаться. Хотя, конечно, актерская судьба дочке кинорежиссера и киноактрисы готовилась с самого рождения, но чего порой не сделаешь назло или вопреки.

Итак, в ресторане ЦДЛ сошлись физик и лирик.

Для начала шестидесятых это было распространенным явлением.

Ольга Арцимович вспоминала о той встрече: «Я никогда ни с кем так не говорила. С самого начала это было абсолютное родство — при том что я всегда очень трудно сходилась с людьми».

К моменту этой встречи Ольга Владимировна уже была разведена, а семейная жизнь Булата, как известно, зашла в тупик и с Галиной Васильвной они жили раздельно.

А потом была поездка на такси по ночной Москве.

Необычайно точно это состояние будет передано впоследствии Булатом Шалвовичем в «Похождениях Шипова»: «А Москва продолжалась. В Самотечных улочках-переулочках, тупичках, в смешении дерева и кирпича продолжалась она... сокровенная, словно именно здесь или где-то совсем рядом, за

поворотом, и должно было открыться место проживания затейливой московской души. Даже грохот недалекой Сухаревки был бессилён пробиться сюда, и только колокольный звон, ослабевая, все-таки расплескивался по маленьким дворам и затухал в подворотнях.

Но в этой благостной тишине кипели те же страсти, что и там, в большой Москве... и в этой благостной тишине вдруг откуда ни возьмись звучали какие-то слабые струны; какие-то неясные звуки вырывались из-за домов, из подворотен; какие-то слова, которых было не понять, не запомнить, разрозненные, сбивчивые: какая-то песня, что ли, которую напевал некий невидимый житель — не пьяный сапожник, не сбитенщик, не бродяга, не вор, не извозчик, но и не тайный советник, или генерал, или князь...

*Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?
В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи...*

Это старая история — показать свою Москву человеку, который тебе симпатичен, которого ты любишь, с которым дружен. Особенно если этот человек из Ленинграда.

Проехать по пустым переулкам, пройти по дворам, вслушаться не только в тишину гулких подъездов, но и в звучащий внутри себя голос, который в такие минуты выдает необычайно точные ноты, воспроизводит единственно верную интонацию, которую отличает предельная искренность, идущая от самого сердца.

Когда такси остановилось у ворот академического особняка на Пехотной, Булат повернулся к Ольге:

— Выйдете за меня замуж?

Счетчик замер на цифрах — «1 рубль 50 копеек».

Булат протянул водителю 2 рубля:

— У вас будет сдача?

Пауза.

— Да, — ответила Ольга.

— Да, — ответил водитель, полез в карман и принялся греметь железной мелочью.

— А, впрочем, оставьте себе...

— Благодарствуем.

Все произошло так быстро!

А ведь еще вчера вечером они впервые увидели друг друга.

Более того, Ольга Владимировна утверждала, что до того момента ни разу даже не слышала этого имени — Булат Окуджава, хотя, конечно, ее друзья в Ленинграде (среди которых, по слухам, был Рудольф Нуреев), друзья ее дяди в Москве знали и пели «Полночный троллейбус» и «Бумажного солдата».

Трудно сказать, чего в этом вопросе — «выйдете за меня замуж?» и этом ответе — «да» — было больше — сильного чувства, поверхностных эмоций, очередной попытки изменить невыносимую жизнь, что-то доказать себе, может быть, игры в галантность, но факт остается фактом — с этой ночи жизнь Булата и Ольги больше не будет прежней.

Это как вспышка.

Как откровение.

«В один прекрасный день меня осенила простая, бесхитростная мысль, способная родиться в голове человека, пришедшего в отчаяние от безуспешных попыток сорвать плод, не подымая рук, войти в дом через печную трубу», — читаем в Окуджавы.

Отчаяние, невозможность (или неумение) пересилить беду были для Булата, пусть не это прозвучит парадоксально, единственной возможностью изменить жизнь (или хотя бы попытаться), сделать шаг вперед навстречу новым чувственным ощущениям, возможности заниматься только литературой и ничем иным.

Спустя годы в своем романе «Свидание с Бонапратом» Б.Ш. Окуджава напишет: «Это была женщина с богатым воображением, но не склонная к мелкими фантазиям, ее, видимо, никогда не заботило, что думают о ней, а лишь то, что она сама думает о других».

Разумеется, эти слова не имели и не имеют прямого отношения к Ольге Арцимович, но интонация в них уловлена необычайно точно — умение и желание этой красивой блондинки из города на Неве из академической и одновременно артистической семьи совершать поступок и делать выбор даже там, где на первый взгляд делать это абсолютно необязательно.

Впервые Булат увидел перед собой человека, который не вел войну с самим собой, просто потому что давно завершил ее полной и окончательной победой.

Цельность и неколебимость, целеустремленность и бесстрашие (в большей степени мужские качества) каким-то немыслимым образом переплетались у Ольги с незащищенностью и склонностью к рефлексии, безоглядной эмоциональностью и неуверенностью в себе.

Конечно, в полной мере увидеть все эти качества за столько

короткий срок Булат не мог, но, скорее всего, интуитивно ощущал их наличие, потому как всегда стремился к ним, искал и ждал их.

Тогда он четко осознал одно — «вот и дождался, вот и нашел».

Почти сразу друзья Окуджавы узнали о том, что у него появилась новая женщина и намерения его весьма серьезны. Да он и не скрывал этого, хотя брак с Галиной Васильевной не был расторгнут и формально они оставались мужем и женой.

Владимир Войнович вспоминал: «Как-то, когда я садился на мотоцикл, Булат подошел ко мне, сунул в руки конверт и попросил опустить его в Москве в почтовый ящик. Перед тем как выполнить поручение, я взглянул на адрес и запомнил незнакомую мне до того фамилию Арцимович. Роль почтальона я исполнил несколько раз, и дело закончилось тем, к чему шло».

Читаем в книге Бенедикта Сарнова «Красные бокалы»: «Соседями нашими стали только Галя и Игоруша. Без Булата. Первое время Булат к ним заходил и иногда попутно заглядывал и к нам тоже. Но случалось это нечасто. А вскоре и эти нечастые его визиты прекратились. И как-то, уже не помню где, скорее всего, в ЦДЛ, он представил нам свою новую жену, Ольгу».

В июне 1962 года Булат окончательно перебрался к Ольге в Ленинград, в трехкомнатную квартиру на Ольгинской улице.

Жили тут четвером — Вера Андреевна Арцимович, Ольга, ее брат Юрий и Булат, который «был так деликатен, что с ним не могло быть никаких конфликтов».

Это как заложенная в подсознании матрица поведения того, как должно и достойно начинать новую жизнь — взять фибровый производства Министерства лесбумпрома СССР, Главфанерпрома, Завода № 29 «Фанеропродукт» «чемоданчик» и уйти с ним в другую семью.

Так уже было в жизни Булата, когда он пришел в семью Смольяниновых в Тбилиси, не имея «за душой» ничего, кроме чувства к Гале и желания начать жизнь сначала.

Сейчас в Ленинграде формально мало что изменилось — то же стремление найти союзника в войне с самим собой, те же безытность, одиночество и отчаяние. Изменился разве что возраст Булата, ему было уже 38, а еще статус — член Союза писателей СССР, известный исполнитель песен на собственные стихи. Багаж, безусловно, ко многому обязывающий, но не имеющий никакого отношения к тому, что определяется термином *самоидентификация*, то есть попытка идентифицировать себя в другом человеке, обнаружить и развить

в себе качества, привнесенные общением, совместной жизнью или привязанностью.

Таким *другим человеком* для Окуджавы всегда был только он сам, и с возрастом это качество только усугублялось, потому что внутренний конфликт, обусловленный семейными перипетиями, а также нелинейным и волнообразным развитием творчества, которое то затухало, то дарило новые потрясающие открытия, лишь нарастал.

В 1964 году у Булата Шалвовича и Ольги Арцимович родился сын.

По воспоминаниям Ольги Владимировны, это счастливое событие произошло, когда Окуджава находился в творческой командировке, и решение назвать мальчика Булатом приняла она сама.

Узнав о том, что его сына зовут Булатом Булатовичем, Булат Шалвович был раздосадован, ведь Булат только один (он сам), а у его сына должны быть совсем другая судьба, другая история, другой путь и другое имя.

*В шестидесятых, тоже в четвертом,
младший родился, добрым и гордым;
время ему потрафляет пока,
лишь бы он помнил, что жизнь коротка.*

Булат Шалвович старше Виктора Шалвовича на 10 лет.

Игорь Булатович старше Булата Булатовича на 10 лет.

Это не более чем занимательная нумерология, когда за произвольным расположением цифр (псевдотеория чисел) видится мистическая цикличность, которая сводит обыденное бытование, рутину повседневности к ожиданию очередного цикла, к попытке (как правило, тщетной) распознать смысл этих совпадений, наполнить их неким провиденциальным содержанием. И тогда время начинает произвольно сжиматься, надвигая старость как опыт ожидания конца, как метафору мудрости и угасания, всеведения и безнадёжности.

Жизнь видится короткой, расчисленной, но не вычерпанной по хронологии, потому как становится своего рода упражнением в умирании, упражнением, в конечном счете вымученным, но к которому привыкаешь со временем и совершенно считаешь невыносимое за желанное.

Владимир Исаакович Соловьев вспоминал: «Мне, двадцатиднолетнему, Окуджава казался стариком, хотя ему еще

не было сорока... Он воздерживался от публичных акций, но сама его поэзия была публичной акцией — не было необходимости в дополнительных. Кое-кто упрекал его даже личным равнодушием, в политической индифферентности... Окуджава входил в возраст, и то, что Толстой назвал «коростой старческого равнодушия», наступило у Булата задолго до старости... он не опускался до мелочей, чтобы защитить главное. Иное дело — то, что он считал мелочами, для других мелочами не являлось».

Слова, эпизоды, детали, поступки, числа, буквы, взгляды, жесты — дьявол кроется в мелочах, как известно, стало быть, в словах, в эпизодах, в поступках, в числах, в буквах, во взглядах и жестах он кроется.

Смысл, который необходимо извлечь и постичь, сложить из взаимоисключающих, на первый взгляд, деталей орнамента, как бы покорить его и стать покорителем этого орнамента.

В этой связи Иосиф Бродский написал так:

*Ты узнаешь меня по почерку.
В нашем ревнивом царстве
все подозрительно: подпись, бумага, числа.
Даже ребенку скучно в такие цацки;
лучше уж в куклы. Вот я и разучился.
Теперь, когда мне попадается цифра девять
с вопросительной шейкой (чаще всего, под утро)
или (заполночь) двойка, я вспоминаю лебедь,
плывущую из-за кулис, и пудра
с потом щекочут ноздри, как будто запах
набирается, как телефонный номер
или — шифр сокровища. Знать, погорев на злаках
и серпах, я что-то все-таки сэкономил!
Этой мелочи может хватить надолго.
Сдача лучше хрусткой купюры, перила — лестниц.
Брезгуя шелковой кожей, седая холка
оставляет вообще далеко наездниц.
Настоящее странствие, милая амазонка,
начинается раньше, чем скрипнула половица,
потому что губы смягчают линию горизонта,
и путешественнику негде остановиться.*

В путешествии в Ленинград таким местом остановки для Булата стала комната Ольги с окном, выходившим в заросший жасмином внутренний двор. Тут стояли врытый в земли стол, за

которым соседские мужики до поздней ночи «забивали козда», да крытые рубероидом сараи, в которых некоторые жильцы держали поросят и прочую живность.

Поросята визжали.

По праздникам здесь было принято угощать соседей салом и кровяной колбасой.

Конечно захаживали блатные с Бассейки — кастеты и ножи всегда были при них.

На заброшенном аэродроме стояли еще со времен войны мертвые ржавые самолеты.

Тут любили собираться и жечь костры.

Все это так напоминало промзону в Нижнем Тагиле или Арбатскую часть в Москве.

Булат, конечно, рассказывал Ольге, как они в детстве играли в пристенок с блатным по прозвищу Холера.

Показывал ладонь — так всегда делали перед началом игры — прикладывали ладони и выбирали одинаковое расстояние между пальцами, чтобы все было по-честному и тот, у кого ладонь больше, не имел бы преимущества перед своим противником во время измерения расстояния между упавшими монетами.

У Булата была маленькая узкая ладонь.

У Холеры — огромная, как лоток совковой лопаты.

Ольга брала ладонь Булата в свою, и они ехали на трамвае в центр гулять по Васильевскому острову.

Сначала он конечно влюбился в этот город — приволье Невы, строгие перспективы проспектов и линий, Медный всадник и напоминающая дредноут Петропавловская крепость, белые ночи, разумеется, а еще дух XIX века — дух благородства, аристократизма и высокого *штиля*.

Прогулки по Ленинграду вдохновляли:

*Веселую полночь люби — да на утро надейся...
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.
О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита, кларнеты ограды,
свистят менуэты... И улица Росси поет!*

Следует заметить, что имя Окуджавы было хорошо известно в городе на Неве еще со времен его триумфальных выступлений

сначала в январе 1960-го года в Ленинградском доме кино, а затем в ноябре 1961 года в Доме работников искусств им. Станиславского (с привлечением конной милиции).

Для москвича, причем для такого истового москвича, каким себя считал Булат Шалвович, внимание питерцев было, разумеется, лестно, ведь негласное противостояние между двумя столицами в шестидесятые годы никто не отменял. Ленинградцам нравились немосковская степенная интеллигентность Окуджавы, его несуетность и мудрость, его негромкий голос и песни, которые, казалось, доносились из бесконечных анфилад Эрмитажа или Камереновой галереи в Царском Селе, из загадочных в стиле модерн особняков на Каменном острове или проходных дворов в районе Сенной площади, словно бы там и были написаны.

Каким-то немыслимым образом Булат сразу здесь стал своим.

Из «Книги прощания» Станислава Рассадина: «Мы с Окуджавой по командировке «Литературной газеты» прибыли в Ленинград на странное сборище, именовавшееся, кажется, Всесоюзным съездом поэтов, на каковом, впрочем, ни разу не объявились (представив родному печатному органу халтурнейшую отписку). Питер в те дни гудел и пьяно шатался от нашествия стихотворческих толп, мы очутились в центре разгульно-романтического водоворота, и — прав Володин — компания москвичей (Винокуров, Вознесенский, Казакова), собиравшаяся в нашем номере привокзальной «Октябрьской», — этот весьма узкий кружок, к которому присоединилось несколько ленинградцев, — на ту пору была самой широкой аудиторией, перед которой Булат решился пропеть свои песни-стихи.

И о том же времени, но уже в воспоминаниях Александра Володина, читаем: «Я увидел его в гостинице «Октябрьская» в компании московских поэтов. Он поставил ногу на стул, на колено — гитару, подтянул струны и начал. Что начал? Потом это стали называть песнями Окуджавы. А тогда было еще непонятно, что это.

...Окуджава уехал в Москву. А я рассказывал и рассказывал о нем, пока директор Дома искусств не полюбопытствовал, что это были за песни. Я изложил их своими словами. И вскоре в ленинградском Доме искусств был запланирован первый публичный вечер Окуджавы.

...Перед тем как я должен был представить его слушателям, он попросил:

— Только не говорите, что это песни. Это стихи».

Оговорка, которая для Булата всегда была принципиальна, а тема соотношения его поэзии и музыки — всегда болезненна.

Спустя годы Булат Булатович Окуджава скажет о своем отце: «Конечно, он был прежде всего музыкантом, с абсолютным слухом и прекрасным голосом, начавшим «проседать» лишь в старости. Ему и надо было заниматься в основном музыкой, но нигде было выступать, не было образования, он стеснялся».

Думается, что эти слова сына, профессионального музыканта, были для Булата Шалвовича постоянной и неутихающей болью, которая только усугубляла раздвоение его личности — поэт или музыкант, прозаик или сценарист, литературный функционер или литературный вольнодумец, гражданин мира или член КПСС, при том что ни в одной из этих ипостасей Окуджава не находил покоя. Он был невольником, заложником каждой из них, был вынужден соответствовать и совмещать несовместимое.

Известно, что Булат Шалвович не решался называть себя поэтом и музыкантом, писал прозу, но избегал термина «прозаик», снимался в кино, но, разумеется, не был актером.

Та или иная форма творчества казалась ему избыточной, а посему терминология в данном случае выглядела банальностью, пошлостью, претензией на нечто громогласное и помпезное.

Советский поэт, советский литератор — призвание, ставшее делом с четко означенным социально-политическим и идеологическим статусом, за которое платят деньги и которое априори убивает живое дарование, выхолащивает его, и наступает ремесло, когда необходимо точно знать, как, например, делаются хорошие стихи.

Мы помним, что еще в свою бытность редактором в «Молодой гвардии» и «Литературке» Булат много работал именно над механикой стихосложения, хотел постичь поэтическое мастерство буквально, препарирруя слово, рифму и ритм. Он был полон желания превратить стихосложение в профессию, в навык, не дающий сбоев.

Спустя годы Окуджава признался, что получил это знание, приобрел этот навык, но легче от этого не стало.

В восьмидесятых он напишет:

*Мне не хочется писать
Ни стихов, ни прозы,
Хочется людей спасать,
Выращивать розы...*

Постепенно влюбленность в стихотворчество прошла.

Влюбленность в город, воспетый Пушкиным, тоже миновала

(впрочем, это свойство всякой влюбленности).

Окунувшись в повседневную жизнь Ленинграда (при том, что Булат не был домоседом и постоянно ездил в творческие командировки — Одесса, Новосибирск, Свердловск, Нижний Тагил, Куйбышев, Польша, Чехословакия), все окружавшее более и более вызывало раздражение в первую очередь своей натужной бутафорией, своей напыщенной надменностью, которая, как мы помним, в свое время так смущала Николая Васильевича Гоголя.

Шел по Невскому проспекту, по Лиговке, по Среднему проспекту ли и находил здесь себя абсолютно ненужным, одним из, вполне могущим быть замененным на себе подобного, ощущал себя частью гигантской музейной экспозиции, бессмысленной и никчемной деталью какого-то неведомого орнамента, из которого складывался тотальный имперский стиль.

*Год от года пышней позолота,
многослойнее тонны румян,
но погибелью тянет с болота,
и надежды съедает туман.*

*Он совсем для житья не пригоден:
нету в нем для души ничего...
Саша Кушнер и Шура Володин —
вот и все из полка моего.*

К моменту написания этих строк Ленинградская музыка Окуджавы уже давно стихла.

В 1965 году он вместе с Ольгой и сыном переехал, точнее, вернулся в Москву, но не на Аэропорт, а на Речной вокзал (Ленинградское шоссе, 86, корпус 2, квартира 72) в только что купленную кооперативную квартиру.

О так называемом квартирном вопросе, который, как известно, испортил жизнь многим советским людям (литераторам в том числе) Ирина Живописцева в своей книге «О Галке, о Булате, о себе...» писала: «Булату и Галке представилась возможность вступить в жилищный коопертив и купить квартиру в писательском доме. (В их подъезде... жила Мариэтта Шагинян, известная в то время писательница...) Это было так неожиданно: на Второй Аэропортовской, 16, около метро «Аэропорт», появилась вакансия на освободившуюся двухкомнатную квартиру. Взнос в две с половиной тысячи рублей нужно было сделать в течение двух дней. Таких денег ни у кого из родственников и

близких знакомых в Москве не оказалось. Галка дала телеграмму в Свердловск... Брат, который, отработав два года после института в Риге, перевелся в Свердловск, послал ей полторы тысячи. Их Гена занял под проценты (государственные) через свою жену Ларису у ее подруги... Остальные деньги Галка собрала у знакомых и через знакомых у незнакомых, сев на телефон и обзванивая всех подряд. Давали в долг кто сколько мог — 25, 50, 100, 200. У нее был целый список... кто сколько дал и когда кому возвращать. Одалживали некоторые суммы буквально на несколько дней; приходилось перезанимать, чтобы отдать в срок. Самым долгосрочным оказался свердловский долг. Его выплата закончилась в 1964 году. Но квартира состоялась!»

Та самая квартира, в которой после ухода Булата из семьи остались жить Галина Васильевна с сыном.

Та самая квартира, в которой ее не стало 7 ноября 1965 года.

Та самая квартира, в которой после смерти матери жил Игорь Окуджава.

Проходил мимо поликлиники Литфонда, оказывался во дворе, курил на скамейке, обходил гаражи и останавливался перед подъездом, потом какое-то время ждал, а затем толкал входную дверь.

В парадном было холодно и темно.

Нажимал кнопку лифта, и тут же в недрах дома оживал электрический мотор, сопровождаемый однообразным гулом лебедки, что выпускала в шахту раздвоенный как змеиный язык, густо смазанный тавотом металлический трос.

Конечно все это уже было в его жизни — на Арбате, например, или в доме матери на Краснопресненской набережной. Точно такая же кабина лифта с грохотом приземлялась на первом этаже.

Но войти в нее Булат не решался.

Медлил какое-то время, а затем стремительно уходил прочь, стараясь быть никем не замеченным.

Да, здесь он бывал редко, хотя от Речного вокзала до Аэропорта — всего лишь четыре остановки не метро.

Целая вечность.

Маэстро (торжественно)

А потом произошло то, что и должно было произойти. После неудачи с публикацией рукопись была потеряна и несколько лет считалась утраченной, пока в начале 2000-х годов ее случайно не обнаружили в школьной библиотеке села Высокиничи Жуковского района Калужской области.

Как она туда попала, неизвестно.

Кажется, что целая вечность прошла с того момента, когда сезонные рабочие Сархат Шарипов и Машхади Латифи, ремонтируя один из писательских домов на платформе «Мичуринец», нашли завернутую в газету пожелтевшую от времени рукопись без начала и без конца. Вполне возможно, что эта безначальность и стала символом вечности, которая по сути и не может пройти, не может завершиться, ибо является частью и смыслом ежедневного бытования и не прекращается с его остановкой.

Читаем последние страницы вновь обретенного текста:

«В окружение отступавших французских конных егерей партизанский отряд Игнатия Иннокентьевича Зотова попал уже на подходе к Боровску.

На этот раз зотовцам не повезло в том смысле, что столкновение произошло в долине реки Протвы, где егеря смогли быстро развернуться в боевые порядки и отсечь головную часть колонны партизан от артиллерийского обоза, что шел на некотором отдалении. Канониры были уничтожены сразу, охранение рассеяно, а конные порядки пока разворачивались, пока перестраивались, потеряли время и были атакованы французами со всего хода. То есть, со свистом и воем егеря врезались в ряды партизан и принялись рубить их со всей сумасшедшей яростью, когда отступать уже некуда, и промедление смерти подобно. Буквально с первых минут сечи Игнат получил тяжелое ранение в живот, он упал с лошади, попытался встать и перезарядить штуцер, но был сбит и затоптан французским авангардом.

Часть партизан во главе с Авдотьей Иннокентьевной, поняв, что происходит, предприняли попытку оттянуть часть егерей в лес, где в конных порядках воевать сложнее, но, увы, эта затея не увенчалась успехом. Французы спешила и открыли беглый огонь по перелеску, не выпуская партизан в долину на помощь к попавшим в окружение. Под шквальным огнем неприятеля, отвечать на который получалось с большим трудом, партизаны стали отходить вглубь леса, теряя не только людей, но и надежду

увидеть в живых своих товарищей, оставшихся один на один с озверевшими егерями на берегу Протвы.

Когда все закончилось, выяснилось, что из пешего отряда под командованием Авдотьи Зотовой из пятидесяти человек выжило только десять, большая часть которых была ранена и едва ли могла продолжать вооруженную борьбу. Среди тех, кто не мог самостоятельно передвигаться, оказался и Михаэль Розен, которому разрывом ручной гранаты изуродовало стопу.

Рана зажила только спустя год уже в Петербурге, но Розен так и остался хромым, потому что стопа на его правой ноге оказалась вывернутой назад, срослась, являя собой зрелище диковинное и страшное. Во время ходьбы красные узловатые сочленения, напоминавшие локти собаки, перекачивались, пульсировали, и казалось, что они вот-вот вырвутся наружу.

Для Михаэля изготовили специальный башмак, который более напоминал навершие молота, потому как у него было два носка, которые расходились от каблука в противоположные стороны.

Опираясь на трость, Розен выступал величаво, деланно улыбался, всячески стараясь скрыть острую, насквозь его пронизывающую боль. Правда, со временем он привык к этому страданию и даже научился танцевать Шлёнский полонез.

Из дневника артиллерийского офицера десятого корпуса второй прусской дивизии Михаэля Георга Розена: «После длительного перерыва вновь берусь за ведение своего дневника. Перечитывая старые записи, относящиеся еще к Малоярославским событиям, прихожу к пониманию того, что все произошедшее со мной неслучайно. Особенно это понимаешь, оказавшись здесь, в Петербурге, на Миллионной, в квартире моего деда Альфреда Розена, которого на русский манер звали Фёдором Казимировичем. В нашей семье об этом человеке не принято было говорить, а если все-таки разговор и заходил, то иначе как большим чудачком Альфреда не называли. До своего отъезда в Россию он был одним из самых известных оружейников в Потсдаме, но, приняв приглашение Императора Петра I, навсегда покинул родину, оставив здесь мою бабушку с двумя сыновьями Карлом и Фридрихом, моим отцом. В Петербурге дед обзавелся новой семьей, точнее сказать, по настоянию царя его женили на совсем юной Елизавете Демент, дочери лейб-медика Исайи Дементы, занимавшего должность «надсмотрщика за древностями» в Кунсткамере. Говорили, что специально на свадьбу Фёдора Казимировича и Елизаветы Исаевны из кабинета древностей к столу были поданы овца с четырьмя глазами и двумя языками, привезенная из Выборга, и специально

доставленный из Тобольска барашек, у которого вместо копыт были перепончатые лапы, как у водоплавающей особи. Что и понятно, это произвело на гостей неизгладимое впечатление, однако у несчастной невесты закатились глаза, и она упала в обморок.

Спустя годы, оказавшись в Петербурге по делам Прусского артиллерийского ведомства, я пришел в дом своего деда, которого к тому моменту уже много лет как не было в живых. Тогда, впервые оказавшись в этой огромной, напоминавшей готический собор квартире, окна которой выходили на Миллионную и во внутренний двор-колодец, я почувствовал, что время тут течет совсем по-другому и то, что было с моим дедом, которого я и не знал, теперь повторяется со мной. Да, ведь сказано у Екклесиаста — что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это уже было в веках, бывших прежде нас...»

В Петербурге у Михаэля с Авдотьей Иннокентьевной родился сын Саша, которого крестили по православному обряду в Успенском соборе на Сенной площади.

Крестная, Елизавета Смольянинова, научила мальчика следующей молитве: «Помоги мне грешному и унылому в настоящем житии моем, умоли, угодниче Божий Николай, Господа Вседержителя даровать оставление всех моих грехов, совершенных от юности моей и во всем житии моем, помоги мне окаянному, умоли Спасителя избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, от сомнений и отчаяния!»

И это уже потом, спустя годы, гуляя с матерью по набережной Невы, Саша Розен увидел стоящего перед ним на воде старца, завернутого в белый омофор с черными крестами. Наклонившись к самому лицу мальчика, он тихо проговорил:

— Невозможно вычерпать море, но возможно собрать капли, и они прольются дождем. Трудись и помни, что только по делам твоим можешь быть узнан. Нет смысла в пустых и праздных речах, если в твоём сердце нет любви, а душа твоя до краев переполнена горечью. Лишь только тогда, когда вычерпаешь ее без остатка, пребывая при этом в молчании, сможешь сказать, что спасся от водного возмущения, воздушных мытарств и отчаяния. Невозможно не испытывать сердечное горение, когда ощущаешь в себе свободу от уныния, зависти и осуждения, потому что бесстрастность и есть истинная любовь. Ведь любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все

покрывает, всему верит, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится...

Саша огляделся по сторонам, но матери нигде не было.

Он бросился бежать по набережной, свернул в первую подворотню и обнаружил ее сидящей на скамейке и что-то записывающей в блокнот, пользуясь переносной чернильницей.

Увидев сына, Авдотья Иннокентьевна улыбнулась.

Знал, конечно, что мать ведет дневник, записывает каждый день свои мысли, наблюдения разного рода неразборчивым почерком. Так, однажды увидел этот потрепанный блокнот на столе, и пока в комнате никого не было, открыл его, конечно, понимая прекрасно, что совершает дрянной поступок, ведь мать могла записывать в нем что-то личное, не предназначенное для посторонних глаз, даже для глаз сына. Однако с радостью не смог разобрать ни одного слова, что были написаны неразборчиво, мелко, какими-то завалившимися влево буквицами, как будто бы мать была левшой.

Но левшой она не была.

Казалось, что текст был специально зашифрован, чтобы никто не смог его прочесть. Более того, Саша подумал, что даже и сама мать со временем его не разберет, что он был ей нужен лишь для того, чтобы вобрать в себя ее мысли и наблюдения только в момент их записи, а потом — будь, что будет, ведь они все равно сохранены, существуют в единственном экземпляре и абсолютно не нуждаются в то, чтобы быть прочитанными кем-то.

После смерти Авдотьи Иннокентьевны, Александр Михайлович держал ее дневник в ящике стола, который всегда был закрыт на ключ, потому как был уверен в том, что еще не пришло время расшифровать кривые, друг на друга завалившиеся буквицы материнской скорописи».

Глава 9

Осенью 1970 года в редакцию серии «Пламенные революционеры» при издательстве политической литературы «Политиздат» ЦК КПСС, что на Миусской площади в Москве, Булат Окуджава принес рукопись, которая называлась «Ведь недаром».

Рукопись была принята к рассмотрению с обещанием ответить быстро, потому как серия активно печатается и издательство заинтересовано в новых авторах.

Хотя для Булата Шалвовича это был и первый опыт написания именно исторического романа, особого волнения, свойственного дебютантам, он, однако не испытывал, более того, он был уверен в том, что текст не подойдет главному издательству историко-партийной литературы в СССР, которое именно в эти дни «за особые заслуги в области книгоиздания» было удостоено ордена Трудового Красного Знамени, потому как слишком для него сложен и зашифрован автором.

Предыстория же данного визита на Миусскую, 7 была такой.

Более года назад в вестибюле ЦДЛ появилось объявление следующего содержания: «Издательство «Политиздат» приглашает к сотрудничеству прозаиков, пишущих на исторические темы, для работы в серии «Пламенные революционеры». Серия ставит перед собой цель — передать в художественной форме факты биографий видных представителей мирового революционного движения».

На приглашение тогда откликнулись многие — Владимир Войнович, Анатолий Гладилин, Лев Славин, Василий Аксенов, Юрий Трифонов, Еремей Парнов, Владимир Корнилов, Натан Эйдельман, Юрий Давыдов, Лидия Либединская, Александр Борщаговский, Раиса Орлова — совершенно не скрывая того, что это не только хорошая возможность сотрудничества с крупнейшим советским издательством и быть напечатанным огромными тиражами («Нетерпение» Ю. Трифопова вышло в этой серии суммарным тиражом 900 000 экземпляров), но и возможность неплохо заработать.

В 70-ом году в этом списке оказался и Булат Окуджава, выбравший героем своего романа руководителя Южного общества декабристов Павла Ивановича Пестеля, одного из пяти повешенных на кронверке Петропавловской крепости в Петербурге.

Согласно установленной практике решение о судьбе рукописи принималось по мере ее прочтения от нижестоящей

инстанции к вышестоящей.

Вот этот список.

1. Владимир Григорьевич Новохатко — заведующий редакцией серии «Пламенные революционеры».

2. Феликс Феодосьевич Кузнецов — член Общественного совета Московских писателей при Главной редакции Политиздата.

3. Николай Васильевич Тропкин — главред издательства.

3. Георгий Мокеевич Марков — первый секретарь правления СП СССР, член ЦК КПСС.

Четкое соблюдение субординации было залогом если не успеха, то по крайней мере внимательного отношения к рукописи и автору со стороны редактирующей и цензурирующей корпорации. Контроль, учет и армейская дисциплина в СП СССР работали бесперебойно и неукоснительно.

Приводим письмо заведующего редакцией серии «Пламенные революционеры» Владимира Новохатко на имя Феликса Кузнецова:

«Уважаемый Феликс Феодосьевич! В ноябре (точную дату мы сообщим Вам дополнительно) состоится заседание Общественного совета московских писателей при Главной редакции Политиздата с целью обсуждения вышедших книг серии и рукопись Б. Окуджавы «Ведь не даром». Просим Вас принять участие в этом заседании. Посылаем Вам рукопись».

Коль скоро текст Окуджавы пошел дальше, вернее, «выше», Феликс Феодосьевич отнесся к нему благожелательно и дал свое «добро».

Подробное же описание дальнейших событий сохранилось в воспоминаниях Владимира Григорьевича Новохатко, опубликованных в журнале «Знамя» (одно время В. Новохатко тут работал заведующим отдела прозы), «Белые вороны Политиздата», в 2013 году.

Читаем эти воспоминания: «Стоит сказать, что в той сотне книг, которую мы выпустили, было много очень официозных — это являлось платой за самую возможность проталкивать в печать отличные книги. Проталкивание это было чрезвычайно тяжелым, трудоемким и длительным делом. Расскажу, опираясь на дневниковые записи тех лет, о том, как проходили через издательские препоны некоторые рукописи.

Особенно трудным был путь и рукописи, и книги Булата Окуджавы о декабристе Пестеле.

Автор доверил повествование вымышленному мелкому чиновнику Авросимову (недаром он назвал журнальную публикацию романа “Бедный Авросимов”, у нас книга вышла под

заглавием “Глоток свободы”), похождениям которого, в том числе в публичном доме, он уделил едва ли не большее внимание, чем Пестелю. Мы не раз просили Булата Шалвовича дать больше места Пестелю, он с неохотой что-то добавлял, но это не уменьшало нашей тревоги за судьбу рукописи...

...в таком виде, как сейчас, Главная редакция будет против издания. И тогда что? Настаивать на обсуждении в редсовете? Вряд ли сие будет удачно — там Марков, Сартаков (секретарь правления СП СССР, зампред бюро секретариата правления СП СССР) и иже с ними. Союзников, в лучшем случае, половина... у нас есть союзник — Баруздин: он главный редактор “Дружбы народов”, секретарь правления СП РСФСР и на весьма хорошем счету у начальства. Как его использовать? Надо подумать.

Да, Окуджава написал не то, что имел в виду в заявке на книгу. Это скорее роман, в котором одно из действующих лиц — Пестель...

Самое смешное, что роман не годится для нас своими литературными особенностями — тем, что основное действующее лицо в нем не Пестель, а вымышленный герой, Авросимов...

Вот задачки задает Булат! Прав он был, когда пришел в первый раз и сказал, что эта рукопись не для нас. “Может, это странное для автора заявление, — сказал он, — но эта рукопись не для вашего издательства”. Как в воду глядел...

Я позвонил Константину Симонову, которого хорошо знал, рассказал откровенно о наших опасениях, попросил его о рецензии, после чего он решительно сказал: “Хорошо. Присылайте рукопись”.

Как говорится, добрые дела не остаются безнаказанными... Когда Окуджава прочитал вот эти строки из симоновской рецензии: “Новое произведение Окуджавы, на мой взгляд, незаурядное явление в нашей прозе. Это сочинение не только в высокой мере талантливое, но и глубокое по замыслу и по своему проникновению в психологию героя... Мне кажется, что публикация рецензируемого романа будет серьезным вкладом в нашу советскую историко-художественную литературу”, он разительно переменялся в отношении наших замечаний по рукописи. Так, когда мы говорили ему, что в романе мало Пестеля, он теперь отвечал: “А вы разжуйте, и будет достаточно”...

При работе с автором возникали и трудности...

Разозлил меня на днях Окуджава. Начали мы смотреть замечания, а он глядит этак через плечо и только пальцем тычет туда, где надо исправить. Я правлю карандашом, он говорит: “Нет, не так! У вас есть резинка?” Я беру резинку, протягиваю ее

ему, а он встает и начинает ходить — не желает унижаться до такой мелкой работы, как правка собственного текста...

Вскоре роман издали... книгу Окуджавы читатели моментально смели с прилавков».

Столь пространная цитата, думается, в полной мере обрисовывает не вполне здоровую обстановку, которая сложилась как вокруг книги Булата Окуджавы, так и вокруг него самого.

Внутрикорпоративная борьба в СП СССР и его отделениях на местах в конечном счете вела к тому, что публикация того или иного автора становилась предметом торга между противоборствующими группировками, главредами и секретарями Правления Союза.

Так, в «Белых воронах Политиздата» мы находим описание совершенно парадоксальной ситуации (более имевшей детективные очертания), относившейся к прохождению и публикации рукописи Булата Окуджавы «Ведь недаром».

Владимир Новохатко пишет: «Исчерпав свои редакционные резервы, мы с редактором подписали рукопись и отнесли ее в главную редакцию. Оттуда неожиданно быстро рукопись вернули: в нынешнем виде она не может быть подписана в набор... Пришла пора размышлений на извечную тему: что делать? Не сразу пришла идея, но, когда пришла, я позвонил Окуджаве и пригласил его к себе домой, благо, что наши дома стояли почти рядом... Он пришел (Б. Окуджава и В. Новохатко были соседями на Речном вокзале), и я с большим трудом уговорил его написать жалобу на меня в ЦК КПСС. Может возникнуть вопрос: почему на меня, а не на виновников запрета из главной редакции? Я резонно посчитал, что, если жалоба будет переведена на главную редакцию, там тут же решат (и будут правы), что жалобу инспирировал я, и мне не простят такой провокации.

В полной мере оценить опасность моего поведения могут только люди, жившие в зрелом возрасте в те времена... Я прекрасно понимал, что, буде известно о моем поступке начальству, меня не просто выгонят на улицу, а выгонят с «волчьим билетом»... Работа с Булатом Шалвовичем у нас дома закипела: я за письменным столом писал очередную фразу и зачитывал ее, а он соглашался с ней или предлагал свой вариант.

Жалоба пошла в ЦК, а оттуда, как всегда водилось в нашем отечестве, была направлена в главную редакцию. И колесо завертелось — на что мы и рассчитывали.

При создании редакции был сформирован так называемый писательский совет под председательством Маркова, он должен был помогать редакции в подборе авторов и обсуждать иногда те или другие рукописи. Тропкин был согласен на обсуждение

советом рукописи Окуджавы.

Заседание совета в конце концов состоялось, и его члены единодушно рекомендовали издать роман Окуджавы (естественно, на этом заседании был и Окуджава). Решающим моментом стала позиция Маркова. Осторожный председатель сказал, что, хотя он рукописи не читал (и явно врал, потому что ему первому мы отослали ее ксерокопию), но единодушная рекомендация членов совета публиковать роман склоняет его к такому же решению. Для руководства издательства высказывание Маркова, члена ЦК КПСС, было весьма авторитетно, было решено книгу издавать с учетом некоторых несущественных замечаний, высказанных на совете, с которыми Окуджава согласился... Спустя несколько лет Окуджава сказал, что он очень благодарен нам за свое приобщение к жанру исторического романа).

Следовательно, борьба за публикацию велась методами и приемами, продиктованными обстоятельствами и условиями большой совписовской игры. Этот немислимый, но вполне обыденный по меркам того времени эпизод отсылает нас к письму Окуджавы в Правление СП СССР касательно погромных статей в «Литературке». Поиск справедливости и защиты в те годы носил именно такой характер, потому что иначе решать проблемы, конфликты ли в литературной среде (а они случались очень часто) было невозможно в принципе.

Другое дело, что в Политиздате это была заранее спланированная операция, когда вышестоящая инстанция в образе благодетеля и поборника справедливости исправила грубую ошибку нижестоящей инстанции, и желаемый результат — публикация — был достигнут. Тогда как в «Литературной газете» на письмо писателя, пришедшее «самотеком», последовала показательно жестокая реакция, чтобы как заявителю, так и другим неповадно было.

И тут вновь приходится говорить о раздвоении творческого сознания, о вынужденном существовании в двух мирах одновременно: в мире советской функциональности со всеми его партхозактивами, газетой «Правда», проработками, письмами в ЦК, идеологическим прессингом, и в мире привитой родителями порядочности, готовности встать на защиту гонимых властью коллег по цеху, писателей-диссидентов, а также в мире собственной мифологии, хотя бы и XIX века, когда благородство и честь были не предметом политических дискуссий, а естественными качествами интеллигентного человека, когда клеветник и предатель был обязан ответить за свои клевету и предательство, потому что иначе и быть не могло.

*Я знаю предков по картинкам,
но их пристрастие к поединкам —
не просто жажда проучить и отличиться,
но в кажущейся жажде мести
преобладало чувство чести,
чему с пеленок подфартило им учиться.*

*Загадочным то время было:
в понятие чести что входило?
Убить соперника и распрямиться сладко?
Но если дуло грудь искало,
ведь не убийство их ласкало...
И это все для нас еще одна загадка.*

*И прежде чем решать вопросы
про сплетни, козни и доносы
и расковыривать причины тайной мести,
давайте-ка отложим это
и углубимся в дух поэта,
поразмышляем о достоинстве и чести.*

Сплетни, козни и доносы были неременной частью официальной жизни советского литературного истеблишмента, и не замараться в этом было дано не каждому. Пожалуй, это удавалось лишь тем, для кого главным мерилom были не достижения и заслуги на известном поприще, но литература, фанатичное служение которой ставилось превыше всего — чинов, наград, кооперативных квартир, переделкинских дач, а порой и семьи, друзей, родных и близких.

Конечно, Булат Шалвович прекрасно понимал, что является заложником этой игры, этих псевдолитературных экспериментов, но выйти из нее и отказаться от них (от экспериментов) он не мог, просто потому что писательство было его профессией, а еще потому что у него была семья.

После описанных выше перипетий рукопись «Ведь не даром» вышла в серии «Пламенные революционеры» под названием «Глоток свободы», а также в журнальном варианте под названием «Бедный Авросимов».

«Похождения Шипова», «Путешествие дилетантов» и «Свидание с Бонапартом» стали продолжением исторического цикла Окуджавы, начало которого оказалось таким тернистым.

Постепенно складывался свой мир, приглашение или

неприглашение в который было прерогативой автора. Это было своего рода закрытым сообществом для своих — друзей и читателей, в которое Булат Шалвович допускал далеко не всех. И тому, думается, была веская причина — исторические романы Окуджавы вернее было бы назвать метаисторическими, сочинениями, направленными, скорее, не внутрь истории (в частности, XIX столетия), но внутрь самого себя, помещенного в этот иллюзорный, мифологический и недоступный для понимания человека второй половины XX века мир. Следовательно, тексты становились своеобразной зашифрованной исповедью, принимать и понимать которую могли только избранные (по крайней мере, так казалось автору).

В одном из своих интервью в 1983 году Булат Окуджава признавался: «...я не собираю материал, я не изучаю, ходя по городу или встречаясь с людьми. Я никогда в жизни, хотя я написал четыре исторических романа, не был в архивах и не знаю, что такое архив, как там выписывать книги, — я, в общем, представления не имею. И где находятся архивы — тоже не знаю. Ну вот я вам как на духу».

Стало быть, речь идет о моделировании своего вневременного пространства с опорой лишь на собственный интеллектуальный багаж, на свои знания (порой достаточно поверхностные) и, наконец, на собственный жизненный опыт, который априори не может быть объективным и безусловным.

Интересными в данном случае представляются рассуждения филолога Стокгольмского университета, исследователя творчества Булата Окуджавы Светланы Уваровой: «Историческое время перестает восприниматься линейно и прогрессивно, в поступательном движении вперед, от прошлого к будущему. Оно приобретает характер виртуального пространства, особого пространства человеческой памяти (как индивидуальной, так и культурной), пространства, по которому можно путешествовать, переносясь из эпохи в эпоху, в нем можно жить, погружаться в него, как в реку, рассматривать, как картину... Решающую роль в освоении этого пространства играет память, личная или чужая (мемуары), служащая проводником ко внутреннему ощущению времени/эпохи... Прошлое для Окуджавы не делится на историческое и личное. Процесс познания и осмысления личной жизни, недавнего прошлого протекает по тем же законам и точно так же требует временной дистанции, как и процесс познания человека 19-го века».

Вопрос дистанции как вопрос допустимого и недопустимого в профессии, в личных отношениях, в творчестве. Не являясь, как известно, историком по образованию (но филологом), Булат

Шалвович экстраполировал собственное видение текста на тот исторический контекст, в котором этот текст был написан. Конечно, тут не обходилось без общих мест, неувязок, без надуманностей и исторических ляпов, потому что художественное произведение формально не является документом, источником, оно изначально сохраняет именно дистанцию восприятия без всякой претензии на изречение истины в последней инстанции.

Пожалуй, ключевым понятием в этой отстраненности, дистанцированности является рефлексия — видение исторических персонажей, событий через призму собственной истории, не сочиненной, не придуманной, но прожитой. При этом следует понимать, что знания о каждом новом дне не существует, а осмысление дня минувшего может растянуться на десятилетия.

5 июля 1983-го года в возрасте 80 лет от инфаркта умерла Ашхен Степановна Налбандян.

*Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид,
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.*

*Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.*

*И сладки, как в полдень пачеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.*

Только что и сумел сказать...

Других слов не было — не осталось, не смог найти.

А ведь ее жизнь так и осталась для Булата загадкой.

Да, она не любила играть в куклы в детстве.

Она стреляла из рогатки и лазила по деревьям с мальчишками.

Она штудировала труды Маркса и Ленина.

Она читала ему сказки перед сном, а он говорил ей, что, когда вырастет, станет писателем.

Она любила своего Шалико и не верила в то, что его больше нет.

Она была всегда подтянута, строго и со вкусом одета, не допускала излишней откровенности, а в деле была сосредоточена и немногословна.

Ее называли «царь-женщина», но когда она оставалась одна, то ложилась на кровать, отворачивалась лицом к стене и закрывала глаза.

И всякий раз она видела одно и то же (читаем в романе Б.Ш. Окуджавы «Упраздненный театр»), как «доехала до центра на троллейбусе и пешком пошла на Лубянку. Она совсем не волновалась, что-то былое, железное, возникло в ней, что-то неукротимое и бесстрашное. Быстро дошла. Затем многочисленные формальности в абсолютной тишине... Она совсем успокоилась и даже представила Лаврентия в наркомовском кресле, маленького, грузного, утопающего в этом кресле, одетого в какой-нибудь нелепый мундир, важного, как это бывает у всех, когда из грязи — в князи... из Тифлиса — в Москву... Было светло, чисто, строго. Секретарша за громадным столом мягко ей улыбнулась. Ашхен уже отвыкла от этих знаков расположения. Она успела подумать об одном, что если они окажутся вдвоем, надо будет, как в старые времена, сказать ему, не придавая значения этим стенам: «Послушай, Лаврентий (вот именно — Лаврентий), мне даже странно убеждать тебя... было бы смешно, если бы ты мог подумать, что Шалико... Какой он большевик, ты знаешь не хуже меня... Тут, видимо, рука этого ничтожества, твоего предшественника... Преступная акция... Ты ведь сам прекрасно все понимаешь...»

Ее пригласили войти в распахнутую дубовую дверь, и маленький, короткошей, плотный Лаврентий, тот же самый, тот же самый, бросился к ней навстречу. «Ва, Ашхен! Ашхен!.. Куда ты пропала?!.. Сколько лет!..»

Она немного оторопела...

Он усадил ее в мягкое кресло. Сам уселся напротив. Она еще подумала, что хорошо бы без пошлых шуточек, но он и не думал шутить...

Потом сказал очень по-деловому: «Ашхен, дорогая, навалилось столько всего... оказывается, такой завал всяких преступлений! Так трудно это все освоить, исправить... — внезапно повысил голос, — но мы разберемся, клянусь мамой! Не я буду, если не разберемся!.. — и схватил ее за руку. — А Шалико я займусь завтра же, ты слышишь?..»

Она с трудом удержалась, чтобы не расплакаться, и поэтому резко встала. Он поднялся тоже...

Ночью ее забрали...»

Тогда ее первая жизнь закончилась, и началась вторая, совсем

другая, о которой никто, кроме нее, не знал, вернее, не мог знать, просто потому, что она никому не рассказывала о ней.

Даже своим сыновьям — Булату и Виктору.

Ашхен всегда замолкала, когда речь заходила о лагерях, и оставалось только догадываться о том, что ей пришлось пережить. Находила слова пустыми, воспоминания тщетными, а жалобы — унижительными, и потому сразу находила себе какую-то работу по дому — шла мыть посуду, ставила чайник, протирала пыль, включала погромче радио, из которого доносился голос Леонида Осиповича Утесова.

Закуривала.

*Я, как в годы прежние, опять
Под окном твоим готов стоять,
И на свет его лучей
Я всегда спешу быстрей,
Как на свиданье с юностью моей...*

Летом 1983 года закончилась и эта — вторая жизнь Ашхен Налбандян.

Нет, не смог пойти на ее похороны, потому что не мог снова видеть эти сухие отрешенные глаза, это застывшее, окаменевшее лицо, эти слегка приоткрытые губы и ввалившиеся щеки.

Ведь однажды он уже видел ее такой, когда она вернулась из Каргала в 1947 году.

Тогда она была рядом, но в то же время она отсутствовала, казалась невыносимо чужой, но родней нее у него никого не было. Ведь именно с ней, с матерью, была связана память о детстве, об отце, о звуках и запахах далекой, сохранившейся только на черной-белых фотографиях жизни. Конечно, можно было с места на место перекладывать эти фотографические изображения, развешивать на стенах комнаты, над кроватью или над письменным столом, но реальности происшедшему это не добавляло — только воспоминания, только реликвии, только фантазии, только упования.

*Минувшее тревожно забывая,
на долготье втайне уповая,
все медленней живем, все тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей*

звучит в ушах, от нас не отставая.

Стоило прожить жизнь (к моменту смерти матери Булату Шалвовичу было 59 лет), чтобы наконец почувствовать, ощутить эту музыку, эту ноту, которую слышишь только ты, и которая звучит вечно, помимо тебя, и будет звучать после твоего ухода.

Да, сейчас Ашхен Степановна тоже была где-то тут, на Краснопресненской набережной, что близ Трехгорки, или в районе Дорогомилово, на Покровке или у Никитских ворот, на Волхонке или на Арбате, но при этом ее уже не было.

Она ушла, и Булат понял, что остался один.

Глава 10

В один из солнечных октябрьских дней 1983 года во двор дома № 43 на Арбате вошел человек.

Добраться сюда оказалось непросто — 39-й троллейбус на тот момент уже сняли с маршрута (он действительно оказался «последним»), а сам Арбат перерыли, потому и пришлось прыгать через развороченные словно взрывом куски асфальта, поваленные фонарные столбы да вывернутые из земли обломки бордюрных камней.

Реконструкция Арбата и превращение его в пешеходную улицу шли полным ходом.

Пока дошел до подворотни, которую до мельчайших подробностей помнил еще со времен детства, проклял все на свете.

Впрочем, здесь грохот отбойных молотков и рев компрессоров как бы и стих, стал глуше, перекатываясь под закопченными сводами с облупившейся штукатуркой и обрывками электропроводки.

Да, именно тут прятались от дождя когда-то, тут курили после школы. Что еще?

Человек замер в этой прохладной гулкой тишине, подыскивая ответ на вопрос.

Ему показалось, что он слышит неразборчивый хор голосов одноклассников, отдельные их фразы, слова, смех.

Ну, еще в этой подворотне целовались с девочками, само собой, а также пили принесенное с Дорогомилова заезжими гастролерами кислое вино, после которого потом тошнило и болела голова.

Человек наконец вошел во двор, остановился в створе подворотни и закурил.

А ведь в детстве этот двор казался ему таким огромным, вмещавшим весь Арбат и его окрестности: здесь играли в пристенок на деньги и футбол, сушили белье и выбивали ковры, орали «рыба!», ругались, дрались и плакали.

Теперь же все сжалось до небольшой вытоптанной площадки, детских покосившихся качелей и скамейки под деревом, которое, кажется, здесь было всегда. В том смысле, что всегда было таким огромным, ветвистым, или просто ему было сто или даже двести лет, и оно помнило пожар Москвы и французов.

Человек сел на скамейку и достал из внутреннего кармана куртки блокнот.

Уже давно он задумал написать историческое сочинение о

войне 1812 года, набрасывал отрывки, главы, но текст не складывался. Сначала не мог понять почему, а потом вдруг осознал — просто никак не мог найти интонацию повествования, состояние, ноту, которая бы звучала постоянно и пронизывала бы весь текст, ту ноту, из которой бы рождались сюжетные ходы и коллизии, персонажи и языковые решения. Иначе говоря, речь шла о создании своеобразного музыкального произведения, которое, по законам композиции, должно было состоять из Пролога, Интродукции, Коды и торжественной части, имеющей весьма ко многому обязывающее название Маэстро.

Итак, необходима нота, которая могла бы родиться из тишины Арбатского двора, из грохота ремонтных работ под стенами усадьбы дома Никанора Никаноровича Хитрово, в котором останавливался Пушкин, или просто ниоткуда.

В детстве так часто бывало.

Хорошо помнил, как он вместе с одноклассниками сидел на берегу реки Тагил и смотрел, как мимо проплывали льдины, на которых пылали снопы соломы, неизвестно откуда там взявшиеся, а сполохи отражались в воде, и всем казалось, что это вода горит.

Из-за реки доносились гудки маневровых паровозов.

Они перекликались, словно участники духового оркестра на репетиции — кларнет и тромбон, флейта и саксофон, туба и фагот, валторна и горн.

Раздерганная музыка Нижнетагильской «Вагонки».

Она еще долго будет его преследовать — состоящая из скрежета, фальшивых нот, паровозных гудков. Лучше уж вообще не слышать никакой музыки, чем такую.

Ее-то, видимо, и услышал тот странный попутчик в электричке из Калуги в 54 году. Услышал и не смог полюбить.

Он сказал тогда: «А поэма мне ваша про Константина Эдуардовича не понравилась, уж не обессудьте. Не жизненно как-то. Надуманно. Плоско».

В ответ на это только и осталось, что развести руками.

— Жаль...

— Обиделись?

— Нет, совершенно не обиделся...

Грохоча на стыках и резко сбавив ход, поезд медленно тягивался к платформе Киевского вокзала.

— Меня, кстати, Федором Михайловичем зовут, а вас?

— А меня Булатом.

— Красивое имя, мужественное... Ну, прощайте, Булат.

Еще какое-то время Окуджава смотрел тогда вслед уходящему через вагон странному своему попутчику и успокаивал себя: «Федор Михайлович, Федор Михайлович... это

просто совпадение, обычное совпадение».

Потом вышел на привокзальную площадь, а тут: пыльные, перелицованные пиджаки с залоснившимися локтями, стоптанные ботинки, плащи на ветру, шпана блажит, заломленные на затылок кепки, военные в галифе, крепкий дух креозота вперемешку с углем, а еще терпко пахнувшие тройным одеколоном бритые затылки — это калужские приехали в столицу, все при кастетах, разумеется, а Дорогомиловские — при ножах, и все вразвалочку идут на Арбат, чтобы с пользой провести время, которого много или которого вообще нет. Честно говоря это каждый определяет для себя сам — военные, шпана, пионеры, блатные, физкультурницы, милиционеры, торговцы тряпьем, путевые обходчики, монтажники.

Сидя под деревом посреди Арбатского двора (напомнил себе музыканта и улыбнулся), записал в блокнот несколько строк, что называется, на пробу.

Отложил в сторону.

Снова закурил.

Он всегда много курил.

И вдруг в наступившей тишине, видимо, у рабочих на Арбате приключился обеденный перерыв, он услышал:

«Вчера, 26 октября 1812 года, мы получили приказ об отступлении. Бумагу из штаба доставил мой старинный приятель, бывший артиллерист, капитан Вильгельм Витке. Уход из Москвы, пропахшей дымом бесконечных пожаров, тлением и смертью, был, с одной стороны закономерным и неизбежным, потому что покорить этих людей, безоглядно сжигавших свои дома и с какой-то неистовой яростью и дикой удалью бросавшихся с топорами в руках на французских гренадер, было безумием. Но, с другой стороны, почему командование Великой Армии и сам Император Наполеон Бонапарт, ценой стольких потерь взявшие Москву, решили ее столь бездарно отдать и буквально бежать из нее с позором? Вопрос, на который у меня не было ответа, потому что разобраться во всей этой сумасшедшей круговерти, где все, казалось, было напрочь лишено здравого смысла, не представлялось возможным.

Продолжением этого московского безумия стало совершенно неожиданное и глупое в своей сути мое ранение в ногу.

А произошло это так.

Когда мы миновали Калужскую заставу, наперерез нашему обозу вдруг выбежал высокий худой мужик со всклокоченной черной бородой и абсолютно шальными глазами, вскинул штуцер и, не целясь, выстрелил в нашу сторону.

Честно говоря, я даже не понял, что произошло. Острая боль

пронзила мне ногу, и тут же на панталонах выступило кровавое пятно.

Тем временем, стрелявший мужик бросил штуцер на землю, закричал что-то и принялся истово креститься, слово хотел вколотить себе в лоб, грудь и плечи зажатые в щепоти правой руки кованые гвозди. Потом он упал на колени, после чего почти сразу и был зарублен наехавшим на него кирасиром из охранения нашего обоза.

Ранение моё однако оказалось легким, пуля поцарапала бедро, а так как отступление шло неспешно и не предполагало активных военных стычек с русскими, то через пару дней, точнее, к моменту выхода нашего обоза на Боровский тракт, боль стихла, и я выздоровел совершенно. Тут мы стали лагерем, но вскоре пришло известие, что русские перешли в контрнаступление в районе села Терентьево, окружили и разгромили соединение пеших гренадер маршала Даву, к которому была приписана и наша батарея. Следовательно, на нас двигалась русская армия под командованием генерала Дохтурова, при том что половина орудий батареи была выведена из строя, а другая половина стояла без боеприпасов. Спешные сборы заняли не более двух часов, и мы выдвинулись, оставив часть орудийного парка на левом берегу реки Протвы близ погоста со странным названием Кариж...»

Человек встал со скамейки.

Из подворотни вновь загрохотали отбойные молотки.

Пришло время уходить.

Потом он еще несколько раз приходил в этот двор, сидел на этой скамейке под деревом, что-то записывал в блокноте, курил, но каждый раз посещение приносило ему все больше и больше разочарований. Наконец он понял, что того, за чем он сюда приходит, здесь уже давно нет, и что все, что ему необходимо, всегда с ним, спрятано в его сердце, ему совершенно необязательно соблюдать этот ритуал, и он прекратил эти визиты.

В 1986 году Арбат стал пешеходной улицей.

В 1987 году Булат Окуджава получил от Литфонда дачу на платформе Мичуринец, где и прожил до 1997 года, вплоть до своей смерти.

Ездить сюда на электричке от Киевского вокзала было удобно, хотя, конечно, добирался на дачу по большей части на автомобиле.

Любил ехать по Кутузовскому неспешно, курил в открытое окно, ощущая при этом абсолютную свободу, даже задумчиво улыбался ей, что, вполне возможно, вызывало удивление водителей, которые ехали ему навстречу.

*Москва, ты не веришь слезам — это время проверило.
Железное мужество, сила и стойкость во всем...
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.*

*Былое нельзя воротить... Выхожу я на улицу.
И вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот
извозчик стоит, Александр Сергееч прогуливается...
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.*

Невольно погружался в ожидание этого воображаемого мира кавалергардов и благородных декабристов, блистательных героев войны 1812 года и поэтов Пушкинской поры. Мира, в котором не было места подлости и предательству, трусости и коварству, но при этом он не мог не понимать, что это мир, в котором может жить только он один, мир, в котором не было места посторонним, и, выходя из которого, он не мог не чувствовать одиночества.

Единственной же возможностью не покидать этот мир, не выходить из этого состояния было писать текст, причем постоянно писать, «пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу», вечно держать его в голове и не терять найденную интонацию, парадоксальным образом при этом смотря назад, но оказываться в будущем.

Интересны размышления на эту тему Сартра в его монографии «Что такое литература?»: «Писатель не может читать то, что он написал... Не существует объективности без ожидания, без будущего, без неопределенности. Таким образом, литературное творчество предполагает особый род мнимого чтения, которое делает подлинное чтение неосуществимым. По мере того, как слова возникают под пером автора, он их, конечно, видит, но видит иначе, чем читатель. Он знает их еще до того, как написал: его взгляд предназначен не для того, чтобы разбудить спящие слова, которые ждут, чтобы их прочитали, а в том, чтобы отслеживать правильное начертание знаков... Писатель не предсказывает будущее и не строит догадок — он замышляет.

Частенько он ищет себя, ждет вдохновения. Однако ждать от себя — совсем не то, что ждать от других — если он сомневается, он знает, что будущего пока еще нет, что его только предстоит создать собственными силами. Если он пока не знает, что случится с его героем, значит, он либо еще не думал об этом, либо не решил окончательно. Будущее для автора — чистый лист,

тогда как для читателя это двести страниц текста, которые отделяют его от финала книги.

Писатель всюду наталкивается на свое знание, свою волю, свои замыслы, короче говоря, на самого себя. Он входит в контакт лишь со своей субъективностью, созданный им объект ему недоступен, он создал его для других. Когда он перечитывает свою книгу, дело уже сделано, фраза никогда не будет в его глазах вещью от начала и до конца. Автор вплотную приближается к грани субъективного, но не переступает ее. Он оценивает эффект отдельного нюанса, того или иного изречения, удачно употребленного причастного оборота, но впечатление они произведут на других. Он может предугадать это впечатление, но не пережить его».

Стало быть, речь идет о невозможности пережить написанное таким, какое оно получилось. Именно эта неопределенность, двусмысленность, если угодно, становится причиной столкновения себя реального и себя существующего внутри текста, причиной имманентного конфликта, у которого нет разрешения. Более того, сей конфликт имеет тенденцию к расширению и усугублению по мере создания новых текстов, новых мифологических схем, входящих в тотальное противоречие с реальной жизнью.

Символом этого ежедневного, порой томительного, даже невыносимого бытования для писателя становится его читатель, будущее которого обозримо (оно даже банально) — «двести страниц текста», тогда как для писателя оно (будущее) непостижимо.

Подойти вплотную к грани субъективного и переступить ее — задача посильная только для герметичного текста, то есть для текста, не предназначенного для читателя, скрытого от него.

В таком случае написанное на бумаге имеет архетипический смысл лишь в момент своего возникновения, когда найденная интонация звучит предельно *форте*, но со временем она затихает, что позволяет гипотетическому читателю увидеть в тексте нечто совсем иное, отличное от того, что было задумано автором, взглянуть на него (на автора) со стороны, в конечном счете, подсмотреть за ним.

И писатель оказывается при этом совершенно беззащитен, совершенно обнажен во всех своих потаенных комплексах, слабостях и несовершенствах.

Следовательно, текст должен быть сокровенен, сакрален, должен находиться под спудом, и лишь тогда он (непрочитанный) будет иметь глубинный и первозданный смысл.

*В нашей жизни, прекрасной и странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежей раной
призадуматься, право, пора.*

*Призадуматься и присмотреться,
поразмислить, куда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.*

Рукопись, над которой работал втайне от всех, он хранил в кладовке, устроенной на утепленной веранде, что выходила окнами в запущенный сад.

Когда же текст был завершен, то рано утром, пока все домашние спали, отнес его на чердак, завернул в подвернувшуюся под руку газету «Правда» и спрятал среди дачного хлама, который следует давно выбросить на помойку, но рука почему-то не поднимается это сделать (боязнь попортить воспоминания, нарушить раз и навсегда заведенный порядок вещей). Значит, и на рукопись никто не покусится, приняв газетный пакет за стопку старых журналов или писем, уничтожение которых вообще следует приравнять к уголовному преступлению.

Вернулся на веранду и закурил.

Донесшийся с платформы гудок первой электрички на Москву прозвучал, как соло на духовом инструменте в финале коды, после которой наступает тишина.

P.S.

Фантастическая история с нахождением рукописи одного известного писателя на платформе Мичуринец полностью вписывается в мифологию невыносимой и в то же время желанной жизни Булата Окуджавы, описанной на этих страницах не столько в хронологическом порядке, сколько в формате потока сознания.

Воспоминания как вспышки.

Размышления как заметки в блокноте.

Детальные описания как разрозненные фотографические карточки, года появления на свет которых уже никто не помнит.

Калейдоскоп текстов — реальных и вымышленных, из

которых при особом повороте трубы калейдоскопа складывается картина необычная и вполне напоминающая реальность, при том что у каждого она своя.

Хронология жизни и творчества

1901, август — в Кутаиси родился Шалва Степанович Окуджава.

1903, 17 августа — в Тбилиси родилась Ашхен Степановна Налбандян.

1922, июнь — брак Шалвы Окуджавы и Ашхен Налбандян.

1922, июль — Шалва Окуджава переезжает в Москву вместе с женой, где они получают две комнаты в коммунальной квартире по адресу: Арбат, 43, кв. 12.

1924, 9 мая — в родильном доме № 7 («у Грауэрмана») родился Булат Шалвович Окуджава.

1924, конец июня — Шалва Окуджава отозван в Грузию, где распоряжением Серго Орджоникидзе назначен секретарем Тифлисского горкома партии.

1924, июль — Ашхен Налбандян устраивает «октябрины» Булата Окуджавы в ДК на Трехгорке.

1932, июль — Шалва Окуджава назначен парторгом строящегося Нижнетагильского вагоностроительного завода.

1934, 25 мая — родился Виктор Шалвович Окуджава, младший брат Булата.

1934, август — семья переезжает в Нижний Тагил, на строительство «Вагонки».

1935, август — Шалва Степанович получает должность первого секретаря Нижнетагильского горкома партии, семья переезжает в дом купца Малинина по адресу: ул. Восьмого Марта, 49.

1936, лето — Булат пишет «роман» о китайском революционере Ю-Шине.

1937, 15 февраля — Шалва Окуджава отстранен от должности первого секретаря Нижнетагильского горкома и арестован.

1937, 18 февраля — Шалву Окуджаву этапируют в Свердловск, где он будет расстрелян через 7 месяцев.

1937, 20 февраля — Ашхен с матерью и детьми уезжает из Нижнего Тагила в Москву.

1937, Март — Булат поступает в пятый класс московской школы № 107, через год он перейдет в школу № 69.

1939, март — арест Ашхен Степановны Налбандян. Приговор — пять лет лагерей и пять лет ссылки за контрреволюционную деятельность. Отправка в Карлаг, лагерь Батык.

1940, лето — Булат переезжает в Тбилиси к тетке Сильвии и в сентябре поступает в девятый класс тбилисской школы № 101.

1941, сентябрь — пытается уйти на фронт добровольцем. Устраивается в военкомат разносить повестки.

1942, август — призыв в армию. Карантин в военном городке в тбилисском пригороде Навтлуги, затем в 10-м отдельном запасном минометном дивизионе в Кахетии.

1942, сентябрь — декабрь — Булат Окуджава на Северо-Кавказском фронте под Моздоком в составе минометной бригады 254-го гвардейского кавалерийского полка.

1942, 16 декабря — Булат Окуджава ранен в ногу шальной пулей и отправлен в госпиталь.

1943, январь — март — возвращение из госпиталя и пребывание в 124-м запасном стрелковом полку.

1943, март — отправка в Степанакерт, в 126-ю артиллерийскую бригаду (резерв главного командования), запись в пехотное училище.

1944, март — Булат Окуджава демобилизован по состоянию здоровья. Возвращение в Тбилиси.

1944, 20 июня — получает аттестат о среднем образовании.

1945, 15 июля — первая публикация — стихотворение «До свиданья, сыны» под псевдонимом А. Долженков в газете ЗакВО «Боец РККА».

1945, 27 августа — 1 сентября — вступительные экзамены на филологический факультет Тбилисского государственного университета имени И.В. Сталина.

1946, февраль — знакомство с сестрами Галиной и Ириной Смольяниновыми.

1947, февраль — возвращение Ашхен Налбандян после лагеря и ссылки.

1947 — свадьба Булата Окуджавы и Галины Смольяниновой. Отъезд Ашхен Степановны с сыном Виктором в Армению (Кировакан).

1947, 24 октября — первая сохранившаяся песня «Неистов и упрям».

1948, лето — осень — арест друзей Окуджавы, студентов тбилисских вузов, по обвинению в создании контрреволюционной организации.

1949, февраль — новый арест Ашхен Налбандян в Кировакане и ссылка в Большой Улун Красноярского края.

1950, 25 апреля — Окуджава защищает диплом «Великая Октябрьская революция в поэмах Маяковского».

1950, июль — переезд с женой в Москву. Неудачная попытка трудоустроиться во Владимире.

1950, 11 августа — приезд в Калугу с женой и братом. Распределение в среднюю школу села Шамордино.

1951, март — Галина Смольянинова уезжает рожать в Тбилиси. Ребенок (девочка) гибнет при родах.

1951 июнь — после конфликта с директором шамординской школы Булат Окуджава переводится в райцентр Высокиничи.

1952, 12 января — после неоднократных конфликтов с директором Окуджава уволен из высокиничской школы «за прогул» (поводом послужила поездка в Москву во время зимних каникул).

1952, 15 января — суд за прогул. Окуджава приговорен к трем месяцам работы с вычетом зарплаты.

1952, 4 февраля — Окуджава принят на работу в калужскую школу № 5.

1952, июль — знакомство с поэтом и журналистом Николаем Панченко.

1953, лето — поездка с женой в Тбилиси.

1953, 22 сентября — переход на полставки в школу рабочей молодежи № 2, начало регулярных публикаций стихов в «Знамени» и «Молодом ленинце».

1954, 2 января — рождение сына Игоря.

1954, июль — Булат Окуджава участвует в межобластной конференции молодых писателей средней полосы России.

1954, август — Ашхен Степановна Налбандян возвращается из ссылки в Москву и получает квартиру в доме на Краснопресненской набережной рядом с Трехгоркой.

1955, 13 января — Булат Окуджава увольняется из школы и переходит в «Молодой ленинец» корреспондентом и руководителем литобъединения при газете.

1955, весна — знакомство с Сергеем Наровчатовым, выступавшим в Калуге.

1955, 20 августа — Николай Панченко дает Окуджаве рекомендацию в КПСС.

1956, январь — участие в Третьем Всесоюзном совещании молодых писателей, вступление в партию.

1956, сентябрь — начало регулярных появлений Окуджавы в литературном объединении Г. Левина «Магистраль».

1956, октябрь — выход первой книги Окуджавы «Лирика» (Калужское книжное издательство).

1956, ноябрь — переезд с семьей к матери в Москву.

1956, декабрь — начало работы в издательстве «Молодая гвардия» в редакции поэзии народов СССР.

1957, весна — знакомство с Евгением Евтушенко, Юрием Левитанским, Евгением Рейном, Владимиром Корниловым, Беллой Ахмадулиной.

1958, осень — выход второго сборника стихов «Острова»

(Москва, «Советский писатель»).

1959, июнь — переход в «Литературную газету» на должность редактора отдела поэзии.

1959, осень — первые магнитофонные записи Булата Окуджавы.

1960, январь — первое официальное публичное выступление (Ленинград, Дом кино).

1960 февраль — поездка в Пушкинские Горы от «Литературной газеты»

1960, 4 марта — провал выступления на «субботнем вечере отдыха» в московском Доме кино.

1960, лето — публикация пяти песен в самиздатском журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис».

1961, первая половина года — работа над повестями «Фронт приходит к нам», и «Будь здоров, школяр!».

1961, апрель — запись магнитоальбома с шестью песнями для официального выпуска катушки на фирме «Мелодия», на худсовете песни были одобрены, но альбом не вышел.

1961, 17 октября — выход первых 30 тысяч (из запланированных 75 тысяч тиража альманаха «Тарусские страницы», где напечатана повесть Окуджавы «Будь здоров, школяр!»).

1962 — прием в Союз писателей СССР.

1962, март — смена руководства в «Литературной газете». После разговора с А. Чаковским Окуджава принимает решение уйти из газеты «на вольные хлеба», хотя сотрудничать с «ЛГ» и брать командировки продолжает до середины 1960-х.

1962, 26 апреля — знакомство Окуджавы с Ольгой Владимировной Арцимович, будущей второй женой, в доме ее дяди академика Льва Андреевича Арцимовича в Москве.

1962, июнь — переезд к Ольге Арцимович в Ленинград, где он с перерывами проживет до 1965 года (ул. Ольгинская, 12, кв. 15).

1962, август — участие в съемках эпизода «Поэтический вечер в Политехническом музее» фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича».

1962, осень — приобретение кооперативной квартиры в Москве в писательском доме по адресу: 2-я Аэропортовская, 16, кв. 305, долги будут отдаваться в течение двух лет.

1963, 10 мая — С. Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, выступает на Четвертом Всесоюзном совещании молодых писателей с речью, содержащей резкие нападки на Окуджаву.

1963, 8 августа — книга стихов Окуджавы «Веселый барабанщик» изъята из плана на 1963 год с требованием

«доработки» в свете новых требований к идейности искусства (вышла в 1964 году).

1964, март — апрель — поездки в Новосибирск, Свердловск, Нижний.

1964, осень — выход в издательстве «Посев» (Франкфурт-на-Майне) сборника «Проза и поэзия», в который вошли повесть «Будь здоров, школяр!» и стихи.

1964, осень — знакомство в Ленинграде с Иосифом Бродским (после его возвращения из ссылки), попытки трудоустроить его на «Ленфильм», вызов к оргсекретарю Союза писателей генералу КГБ В. Ильину.

1964, 7 ноября — развод с Галиной Смольяниновой.

1965, январь — работа над киноповестью «Арбат, мой Арбат».

1965, 21 февраля — инспирированное «письмо трудящихся» под редакционным названием «Ловцы дешевой славы» в газете «Советская Россия».

1965, апрель — май — дискуссия об авторской песне в «Литературной газете».

1965, май — работа с Владимиром Мотылем над сценарием фильма «Женя, Женечка и „катюша“».

1965, 7 ноября — смерть первой жены Окуджавы Галины Смольяниновой ровно через год после развода с Булатом, сын от первого брака Игорь переезжает к тетке Ирине Живописцевой во Владивосток.

1965, декабрь — приобретение кооперативной квартиры на Речном вокзале по адресу: Ленинградское шоссе, 86, корп. 2, кв. 72.

1966, весна — участие в съемках фильма «Женя, Женечка и „катюша“» в Калининграде.

1966, март — подписание коллективного писательского письма в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля, осужденных за публикации их произведений на Западе.

1966, июль — поездка в Швецию в составе писательской группы. Вечер советских поэтов в Стокгольме.

1967, январь — выступления в Казани и Ульяновске, вызвавшие донос первого секретаря Ульяновского обкома КПСС А. Скочилова.

1967, 11 марта — концерт в московском Доме кино (с Р. Казаковой). Первое исполнение «Молитвы».

1967, март — выход безгонорарного номера «Звезды Востока» в пользу жертв ташкентского землетрясения. Большая подборка Булата Окуджавы, включающая «Размышления у дома, где жил Тициан Табидзе».

1967, июнь — выход на экраны фильма «Женя, Женечка

и „катуша“».

1967, июль — поездка в Польшу. Встреча с польскими диссидентами и деятелями культуры.

1967, октябрь — недельная поездка в Венгрию.

1967, конец ноября — декабрь — поездка в Париж.

1968, январь — поездка в Мюнхен.

1968, февраль — март — поездка в Австралию и Индонезию.

1969, апрель — июнь — «Бедный Авросимов» в журнале «Дружба народов», конфликт с публикацией в «Литературной газете» рецензии на роман.

1969, октябрь — поездка в Ереван в составе группы авторов журнала «Дружба народов».

1969, осень — работа над повестью «Похождения Шипова, или Старинный водевиль».

1970, весна — выход книги «Два романа» («Бедный Авросимов» и «Фотограф Жора») в издательстве «Посев».

1970, 17 июля — объяснение оргсекретарю СП СССР В. Ильину о передаче на Запад повести «Фотограф Жора», письмо в партком СП СССР с вопросом о причине запрета на публикации и выступления.

1971, сентябрь — поездка на фестиваль «Забайкальская осень» в Читу. Премьера «Глотка свободы» в Читинском драматическом театре.

1971, декабрь — «Похождения Шипова» в журнале «Дружба народов», «Бедный Авросимов» (под названием «Глоток свободы») выходит в серии «Пламенные революционеры» (Москва, «Политиздат»).

1972, 18 февраля — знакомство с Генрихом Беллем в доме Льва Копелева и Раисы Орловой.

1972, май — вызов в партком Союза писателей с требованием опубликовать покаянное письмо в связи с зарубежными публикациями, отказ Окуджавы от публичных покаяний.

1972, 18 ноября — «Литературная газета» публикует заявление Окуджавы, написанное В. Максимовым, о том, что зарубежные публикации осуществлялись без его ведома.

1973, весна — переезд в квартиру в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке. После долгого перерыва написаны две новые песни: «Старинная солдатская песня» и «Батальное полотно».

1974, лето — на студии «Мелодия» начата работа над диском-гигантом песен Окуджавы (составитель — Л. Шилов). Работа над песнями к фильмам «Приключения Буратино» и «Соломенная шляпка». Закончена первая книга «Путешествия дилетантов».

1976, сентябрь — октябрь — первая книга «Путешествия дилетантов» в журнале «Дружба народов».

1978, октябрь — ноябрь — вторая книга «Путешествия дилетантов» в «Дружбе народов».

1979, февраль — разгром альманаха «Метрополь», в котором участвовали большинство друзей Окуджавы, но сам Окуджава в нем не участвовал.

1980, 25 июля — смерть В. Высоцкого.

1980, 26 декабря — участие в концерте памяти Высоцкого в ДК «Прожектор».

1981, ноябрь — гастроли во Франции.

1982, апрель — поездка в Тбилиси.

1982, лето — работа над песней для фильма «Нас венчали не в церкви» («Любовь и разлука»).

1983, 5 июля — Ашхен Налбандян умирает от инфаркта.

1983, июль — сентябрь — публикация «Свидания с Бонапартом» в «Дружбе народов».

1983, осень — начало реставрации Арбата и превращение его в пешеходную зону. Окуджава выступает против.

1984, май — Окуджава отказывается подавать документы на орден «Знак Почета».

1984, 15 июня — чествование Окуджавы в ДК имени Горбунова, организованное московским КСП, с участием Н. Эйдельмана, Ю. Кима, М. Жванецкого, Т. и С. Никитиных, Ф. Искандера и младшего сына Окуджавы, впервые аккомпанирующего ему на рояле.

1984, лето — выход «Избранного» (Москва, «Советский писатель»).

1984, сентябрь — вручение ордена Дружбы народов (Окуджава не явился получать его).

1986, лето — турне с бардами по СССР под лозунгом «Авторская песня на марше мира»: Москва (Лужники), Саратов, Горький, Челябинск, Свердловск.

1986, декабрь — гастроли в Нью-Йорке.

1987, весна — получение дачи в Переделкине (пос. Мичуринец).

1987, март — поездка в Париж и Берлин, встреча с Л. Копелевым и Р. Орловой.

Октябрь — ноябрь — турне по ФРГ.

1988, январь — гастроли в Израиле (Тель-Авив, Беэр-Шева).

1989, февраль — вступление в литературное сообщество «Апрель» («Писатели в поддержку перестройки»).

1989, октябрь — поездка в Токио.

1989, декабрь — участие в сборнике «Весть» (повесть

«Похождения секретного баптиста»).

1990, 18 января — дебюш членов общества «Память» во время заседания «Апреля» в ЦДЛ.

1990, июль — выступления в летней школе Норвичского университета. Присуждение почетной степени доктора филологических наук (вместе с Ф. Искандером).

1990, сентябрь — гастроли в Швеции.

1991, май — поездка в США. Операция на сердце в Лос-Анджелесе.

1991, август — путч в Москве.

1993, сентябрь — октябрь — публикация романа «Упраздненный театр» в «Знамени».

1993, 4 октября — Окуджаву подписывают «письмо сорока двух», поддерживающее силовые действия власти против оппозиции. Травля Окуджавы в коммунистической и национал-патриотической прессе, усугубившаяся после его интервью газете «Подмосковные известия».

1993, декабрь — поездка в Швецию на Нобелевский концерт-фестиваль в Стокгольме.

1994, январь — средиземноморское турне с группой писателей.

1994, февраль — гастроли в Германии.

1994, 9 мая — юбилейный вечер в театре И. Райхельгауза «Школа современной пьесы».

1994, декабрь — Букеровская премия за роман «Упраздненный театр».

1995, февраль — гастроли в Риге.

1995, июнь — выступление в зале ЮНЕСКО (Париж).

1996, октябрь — гастроли в Стокгольме.

1997, 11 января — смерть старшего сына Окуджавы Игоря.

1997, май — поездка в Германию и Францию.

1997, 16 мая — отъезд в Париж.

1997, 11 июня — принимает крещение под именем Иоанн.

1997, 12 июня — умер в госпитале.

17 июня — прощание с Окуджавой в театре Вахтангова на Арбате.

18 июня — похороны на Ваганьковском кладбище.

1998, август — открытие Дома-музея Окуджавы в Переделкине.

2002, 8 мая — открытие памятника Булату Окуджаве у дома № 43 на Арбате.

2003, 18 ноября умер Виктор Шалвович Окуджаву.